

ANNALES INSTITUTI PHILOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XXVI.

EDITIONEM CURANTIBUS
L. LIEBER, P. LIELI

ADIUVANTIBUS
ISTVÁN T. MOLNÁR
ISTVÁN D. MOLNÁR

REDIGIT
ZOLTÁN HAJNÁDY



DEBRECEN, 1993

SLAVICA XXVI.

ISSN 0583-5356

ANNALES INSTITUTI PHILOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XXVI.

EDITIONEM CURANTIBUS
L. LIEBER, P. LIELI

ADIUVANTIBUS
ISTVÁN T. MOLNÁR
ISTVÁN D. MOLNÁR

REDIGIT
ZOLTÁN HAJNÁDY

DEBRECEN, 1993

СОТРУДНИКИ
НАШЕГО ТОМА

А. БАРДОШ

младший преподаватель
при кафедре русского
языкознания
Университет им. Лайоша Кошута
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

Э. БОДНАР

(см. Slavica XXIV)

Н. ВАРХОЛ

Музей украинской культуры
(Свидник, Украина)

Й. ВИЛАГИ

старший преподаватель
при кафедре русской литературы
Университет им. Януса Паннониуса
(Венгрия, 7624 Печ)

Н. ДИМКОВ

доцент
(Болгария, Шумен)

Л. ИМРЕ

доцент при кафедре венгерской
литературы
Университет им. Лайоша
Кошута
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

В. КОМАРОВ

старший преподаватель при
кафедре русской литературы
Университет им. Януса Паннониуса
(Венгрия, 7624 Печ)

Ч. КОВАЧ

младший преподаватель при кафедре
польской филологии
Университет им. Лайоша Кошута
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

Ч. КУКУЧКА

аспирант при кафедре русской
литературы
Университет им. Лайоша
Кошута
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

Л. ЛИБЕР

(см. Slavica XVI)

И. П. МЕГЕЛА

профессор, Академия наук
(Киев)

Л. МИКРУТ

доцент при кафедре русской
литературы УМСК
(Польша, Люблин)

Э. ОЙТОЗИ

(см. Slavica XII)

Й. ПАРОЦАН

доцент при кафедре русской
литературы Педиститута им.
Д. Бешенеи
(Венгрия, 4401 Ниредьхаза)

Й. ПИЛАРСКИЙ

(см. Slavica XXIV)

А. СПРАВКА

младший преподаватель при
институте польской филологии
УМСК
(Польша, Люблин)

Н. СТАНГЕ-ЖИРОВОВА

профессор при кафедре русской
филологии
Фонетический институт
(1050 Брюссель)

Л. М. ТАКАЧ

директор гимназии
(Венгрия, Эделень)

И. УДВАРИ

(см. Slavica XXIV)

М. ФОНАЛКА

(см. Slavica XXIV)

Э. ХАЙНАДИ

(см. Slavica XXIV)

Г. ХИМА

доцент при кафедре русской
литературы
Университет им. Лайоша Кошута
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

А. ШАЛГА

(см. Slavica XX)

Э. ЮХА

(см. Slavica XXV)

OUR
CONTRIBUTORS

A. BÁRDOS
assistant professor
Dept. of Russian Linguistics
Kossuth University
(4010 Debrecen, Hungary)

E. BODNÁR
(see Slavica XXIV)

N. DIMKOV
associate professor
(Sumen, Bulgaria)

M. FONALKA
(see Slavica XXIV)

Z. HAJNÁDY
(see Slavica XXIV)

G. HIMA
associate professor
Dept. of Russian Literature
Kossuth University
(4010 Debrecen, Hungary)

L. IMRE
associate professor
Dept. of Hungarian Literature
Kossuth University
(4010 Debrecen, Hungary)

V. KOMAROV
senior professor
Dept. of Russian Literature
Janus Pannonius University
(7624 Pécs, Hungary)

CS. KOVÁCS
assistant professor
Dept. of Polish Studies
Kossuth University
(4010 Debrecen, Hungary)

CS. KUKUCSKA
graduate fellow
Dept. of Russian Literature
Kossuth University
(4010 Debrecen, Hungary)

L. LIEBER
(see Slavica XVI)

I. P. MEGELA
professor, Ukrainian Academy
(Kiev)

L. MIKRUT
associate professor
Dept. of Russian Literature
(Lublin, Poland)

E. OJTOZI
(see Slavica XII)

J. PARÓCZAY
associate professor
Dept. of Russian Literature
"György Bessenyei" Teacher
Training College
(4401 Nyiregyháza, Hungary)

J. PILARSKY
(see Slavica XXIV)

A. SALGA
(see Slavica XX)

A. SPRAWKA
assistant professor
Dept. of Polish Studies
(Lublin, Poland)

N. STANGE-ZHIROVOVA
professor
Dept. of Russian Studies
Free University
(Bruxelles)

L. M. TAKÁCS
headmaster of secondary school
(Edelény, Hungary)

I. UDVARI
(see Slavica XXIV)

N. VARHOL
Museum of Ukrainian Culture
(Svidnik, Ukraine)

J. VILÁGHY
senior lecturer
Dept. of Russian Literature
Janus Pannonius University
(7624 Pécs, Hungary)



Florence

Эндре Иглои
(к 70-летию со дня рождения)

Эндре Иглои 70 лет, и сорок из них он преподает в нашем университете. Седовласый и моложавый, дружелюбный и всегда общительный человек. Работа – его неизменная жизненная стихия. Быть в действии с раннего утра и до позднего вечера в самом деле значило и значит для него перманентное самоосуществление и самообновление. Его имя неразрывно связано с кафедрой русской литературы Дебреценского университета. Его характерная для эпохи карьера – это пример преподавательской, научной, общественной работы.

Он родился в Балмазуйвароше, его родители рано умерли. Отец-воспитатель был слесарем на вагоностроительном заводе, может быть отсюда пришло уважение к труду и непосредственность. В 1952-ом году получил диплом учителя начальной школы, а в 1954-ом – преподавателя русского языка и литературы. Еще в советском плену научился говорить по-русски, словарь того времени хранит и сегодня. С 1952-го года адъюнкт в Русском институте Дебреценского университета, а с 1954 по 1956 – заместитель директора Будапештского института имени Ленина. В 1956 году становится доцентом кафедры русского языка университета в Дебрецене, а позже – ее заведующим.

Последние четыре десятилетия он вел занятия на всех курсах, учил целостности русской и советской литературы. Он исповедовал, что основным условием хорошего обучения является знание целостности и исторической взаимосвязанности. Поэтому он преподавал рядом литературу и историю культуры, разговорную практику, текстологию, палеографию.

Объектом его исследований, любимой темой была и остается русская культура и литература XI-XVIII веков. Из "богатырского князя Игоря", запомнившегося студентом еще в молодые годы, через несколько лет за седины он стал в кругу коллег "большим белым шефом". Его учебники, переводы, хрестоматии охватывают всю древнерусскую литературу:

Хрестоматия древнерусской литературы. Будапешт, Танкёньвкиадо. Единое пособие для университетов, 1958.

История древнерусской литературы. Будапешт. Пособие для университетов, 1959.

Хрестоматия русской литературы XVIII века. Будапешт. Единое пособие для университетов, 1960.

История русской литературы XVIII века. Будапешт. Единое общее пособие для университетов (в соавторстве с Ласло Каранчи).

Славянские народы и языки. Единый университетский справочник для студентов славянской специальности. Ред: Бела Шулан. (В соавторстве с Эндре Андьялом и Эмилем Нидерхаузером). Будапешт, 1962.

История древней русской литературы XI-XVIII в. Университетский справочник и учебник. 25 печатных листов, Будапешт 1968, 2 изд. 1972 г., 3 изд. 1976 г., 4 изд. 1980, 5 изд. 1985.

История русской литературы XVIII века. 27 печатных листов. Будапешт, 1969, 2 издание 1972, 3 изд. 1982.

Древнерусская художественная проза (Régi orosz szépróza). Университетский учебник и антология на двух языках. Будапешт, 1979, 2 изд. 1981. (В соавторстве с Палом Мишлеи).

Маленькое обозрение русской литературы от Иллариона до Радищева. Послание прошлого и эпоха перехода. Издательство «Европа». 50 печатных листов, 1982.

Главы из истории русской литературы XVIII века. Университетский учебник и дополнительное пособие (В

соавторстве с Марией Тетени). 24 печ. листов, Будапешт, 1985.

Русское литературное прошлое. Будапешт, 1988. Танкёньв-киадо. 316 страниц.

Рукописи, принятые к публикации:

Рецепзия "Слова о полку Игореве" в Венгрии. Университетская докторская диссертация, 1958, 180 страниц.

Старый русский "Хронограф" и его источники. Кандидатская диссертация. 1967. 1200 страниц.

Русская летопись "Повесть временных лет" (Хроника Нестора); двуязычная.

Упадок русского классицизма. KLTE, Debrecen, 1993. 410.

От сообщения фактов до художественного обобщения (Тенденции развития древнерусской литературы). Издательство "Гондолат", 30 печатных листов.

Его пособиями/книгами как учебниками и как справочниками пользуются не только в Венгрии, но и за границей. Объемный фактический материал его книг охватывает не только литературные процессы, творческие пути и произведения, но и открывает византийско-европейско-славянскую определенность культуры.

Кроме перечисленных он опубликовал более полуста критических анализов и обширных статей на русском, английском, французском, немецком, чешском и венгерском языках. Много десятилетий редактировал «Славику», был и сегодня остается членом многочисленных академических и издательских комиссий.

Профессор Иглои крупнейший венгерский исследователь, толкователь и популяризатор древнерусской литературы.

Надеемся и желаем, что еще долгие годы своим трудом и мыслями, и личным примером он будет обогащать своих учеников, читателей и венгерскую русистику.

Л. Ягустин

**Карпаторуська церковна офіційна писемність у першій
третині XVIII століття
(На матеріалі рукописної спадщини єпископа Георгія
Геннадія Бізанція: 1657-1716-1773)**

I. УДВАРІ

Бізанцій народився у 1656 році у селі Великі Раковці, що у комітаті Угоча. Теологічну освіту здобув у Ґрनावі. Після висвячення, яке відбулося 1701 року, його призначено парохом у Надькалло - тодішньому адміністративному центрі комітату Сабольч. У 1703 році він стає архідияконом Затисся. Від 1713 року за дорученням адміністрації Мукачівської грекокатолицької єпархії спочатку обіймає посаду вікарія у перемиського єпископа Георгія Вінницького, а відтак того ж таки року одержує місце заступника егерського єпископа Іштвана Телекешші. У 1715 році його офіційно затверджено постійним заступником. Підвищення Бізанція до посади єпископа, хоча й схвалене королем, але не затверджене Римом, відбулося супроти волі відомого прихильника династії Габсбургів - Йозефа Годермарського. Таким чином, Бізанцій здобув звання єпископа у 1716 році в такий самий спосіб, що і Де Камеліс, тобто звання єпископа надав Бізанцію король, тим часом як папа проголосив його апостольським вікарієм, наказним єпископом сабастопольським. У спеціальній літературі можна знайти чимало суперечливих суджень про особу та діяльність Бізанція. У роботах з історії церкви, що датуються кінцем XIX століття, про нього поширене уявлення, як про улюбленця егерських клириків, який проявив себе

вірним васалом егерського єпископату¹. Годинка не поділяє цього поверхового уявлення: до оцінки Бізанція він підходить значно обережніше, вбачаючи у ньому вірного послідовника старих, ще доуніатських догматів та канонів². Годинка вказує на те, що Бізанцій був серед тих, хто вів боротьбу із егерськими католицькими єпископами за дотримання східнообрядових свят, а також у справах папського освячення, обряду вінчання, одержання дозволу на будівництво нових храмів та утворення нових парафій – тобто, у таких питаннях, що стосувалися ступеню самостійності чи, навпаки, залежності від вишестоячої влади.

На основі лінгвістичного аналізу кириличних рукописів, дослідження ознак різних мовних нашарувань, вважаю за необхідне продемонструвати, що і в часи Бізанція існували інтенсивні зв'язки між галицьким та південнокарпатським руським духівництвом. У період між смертю де Камеліса та призначенням Бізанція переважна частина священнослужителів висвячувалася або у львівських чи перемиських єпископів, або у православних марамороських владик, що природним чином обумовлювало суспільні та мовні зв'язки. Більш докладні дані про це можна знайти у дослідженнях Гаджеги³. Оскільки процедура висвячення була пов'язана із екзаменом, цілком правомірним видається припущення, що кандидати на духовні посади проходили у Галичині і відповідний вишкіл. Частина духівництва, яка служила у Перемишлі, Львові, Луцьку і под. була галицькою або волинською і за своїм походженням⁴. Бізанцій був висвячений на єпископа також у Львові (1716); це відбувалося у той час, коли, за свідченням близьких його співробітників, мукачівське вище духовенство шукало шляхів для визволення з-під надмірної залежності від Егеру⁵.

У 1727 році єпископ Бізанцій видає у Трnavі на тогочасній українській літературній мові казуїстику (коментар) під назвою: «Краткое припадковъ маралныхъ, или нравнихъ Собрание Духовнымъ особамъ потребное... Въ Тернавѣ. 1727». Мова цього твору, так само, як і рукописів Бізанція, може бути зрозумілою тільки із врахуванням інтенсивних галицько-закарпатських зв'язків. У 1720 році Бізанцій звертається до егерського архієпископа і повідомляє його, що напередодні подорожі до Відня він одержав листа від львівського митрополита Лева Кішки, в якому той на правах душпастиря сусіднього округу запрошував його до участі у проведенні ніціонального ритуального синоду. Необхідність такого звернення пояснювалася неможливістю для духовних осіб виїжджати на собори, що скликалися в інших країнах, без

дозволу на те єпископа або архієпископа, а також без схвалення подібної подорожі з боку короля. У своєму листі Бізанцій просив, щоб у названому соборі міг узяти участь він, його вікарій або спеціальний уповноважений⁶. Так і залишилося не відомим, чи узяв Бізанцій участь у соборі в Замості; з певністю можна твердити лише те, що за часів правління Бізанція помітно відчувалися наслідки рішень згаданого собору, який відбувся під знаком католизаційних впливів Риму і польського католицького духовенства. Рішення, прийняті на синоді у Замості, послужили основою декретів, що їх було ухвалено на зустрічі грекокатолицьких архієпископів у Егері в 1726 році⁷.

У 1727 році, коли запідозрюване у схизмі духовенство комітату Угоча знову присилувано до складання присяги на вірність католицькій церкві, скликаних для цього півсотні священнослужителів ознайомили із рішеннями синоду у Замості⁸. У передмові до виданої ним у 1727 році «Казуїстиці» Бізанцій наголошував: відповідно до рішень синоду у Замості і з метою зробити цей твір загальнодоступним він видається народною мовою⁹; у тексті часто зустрічаються посилання на рішення синоду.

Рукописна спадщина Георгія Бізанція (1657-1716-1733)

З документів канцелярії Бізанція, які подаються нижче, видно, що їхня мова не є однорідною. Частина їх написана галицькоукраїнською літературною мовою, яка не відбиває південнокарпатських особливостей. Церковнослов'янські елементи виступають у цих документах нерівномірно: у текстах посадових та інсталяційних грамот помітнішою є частка фонетичних та синтаксичних старослов'янських форм, натомість у листах, протоколах їх менше; що стосується полонізмів та латинізмів, то їхня частотність перебуває у прямо протилежній залежності. У другій групі документів Бізанція простежується кілька характерних карпаторуських властивостей (розрізнення Ы-И, наявність звукосполучень КЫ, ГЫ, ХЫ, гунгаризмів), але і ці документи, власне кажучи, відбивають певні важливі риси української літературної мови (наприклад, закінчення -МО у дієслівних формах 1 особи множини, лексичні полонізми, латинізми).

Фонетичні зауваження. Співробітники Бізанція, зокрема, ті писарі його канцелярії, які були галицького походження, у писаних ними документах не розрізняли Ы-И: слыхала, слышали, послушными, стыдъ, пастиря, про певни причини, для причини, звиклому stb., LE 1717, до славнихъ, при битности, аби, синовъ, пастира stb., J. Csernina 1717, умислихомъ, жеби, духовнихъ stb.

Вживання літери И на місці літери Ы зустрічається подекуди і в тих документах, авторами яких за усіма іншими ознаками були писарі - русини південнокарпатського походження. В одному з текстів, перекладених Бізанцієм, бачимо, наприклад: монастира, которимъ F Biz 1727. тощо. Це явище, яке суперечить як церковнослов'янській нормі, так і фонетичним закономірностям південнокарпатських українських говорів, було, очевидно, наслідком правописної практики, характерної у Закарпатті писарів галицького походження, а також поширення численних видань, написаних українською літературною мовою (збірок проповідей, апостольських книг, описів подорожей тощо)¹¹.

На початку слова *je* ---> *je* едень LE 1717, E Rosztoka 1733 тощо.

tort, tolt ---> *torot, tolot* волочачися J Csernina 1717, въ сторонахъ I Biz 1730, золоты^x, загорода E Rosztoka 1733 stb.

---> *trat, tlat* вратари, кралевскаго I Biz 1725, храмы I Biz 1730, златы^x E Rosztoka 1733; stb.

---> *tlot, trot* злоты^x LE 1717, крoлевства F Biz 1727, крoлевскаго I Biz 1730, страни J Csernina 1717, E Rosztoka 1733;

Слова, що відбивають рефлекси польського походження, часто зустрічаються у тогочасній українській літературній мові і являють собою її складову частину.

Звукові сполучення *tert, telt* дають подвійні рефлекси: як східнослов'янські (українські) повнозвучні форми, так і форми, властиві церковнослов'янській традиції, що підсилювалося польськими впливами. Наявність прийменника ПРЕЗЬ- прикмета виразно польського походження. Натомість уживання прийменника ПРЕДЬ- і дієслівного префікса ПРЕ- може бути явищем як церковнослов'янського, так і польського походження. Обидва ці елементи зустрічаються уже в ранньому українському офіційному письменстві. Частина дослідників, зокрема польський мовознавець Курашкевич¹², вважають, що їх наявність у галицько-волинських грамотах XVI-XVII століть викликана впливом фонетичних властивостей польської мови.

ort ---> rot розогналь LE 1717, ро^хнихъ, зрозумѣлисмо J Csernina 1717, розказъ, розказу, розумѣли L Biz 1733.

---> rat работати J Csernina 1717, разсудителна I Biz 1730 тощо.

tj ---> ě a szövegszavak 80 %-ban; pl. оуважаючи LE 1717, належачихъ I Biz 1733 тощо.

---> šč переважно у надавничих документах: сохранияюши I Biz 1725, прилучаюшаяся I Biz 1730, въ свѣщеносци I Biz 1725, 1730. š, ž, č + e > š, ž, č + o найже послідовно, у 96 % текстів: назначонїи, оунижоного, ншого, вшого, нашому stb. LE 1717, во Мукачови, румонїи, Мстичовскій stb. F Biz 1727, мукачовскій I Biz 1725, 1730.

Літера ѣ позначає звук і. Пор.: за вѣкарѣуша, термѣнь LE 1717, вѣкарий E Rosztoka 1733 тощо.

У закритих складах звуки о, е послідовно залишаються без змін. Тільки у перекладі Бізанція можна спостерігати о ---> и: та й то лише у двох випадках: соборъ немешувъ, панувъ F Biz 1727. Послідовно зберігається і наприкінці складу: розогналь, вахился LE 1717, призналь, офѣроваль I Biz 1730, исполнити L Biz 1733, пробаловался, мусиль stb. L Biz 1733.

Морфологічні зауваження: У відмінюванні іменників я вважаю характерним вживання питомого відмінкового закінчення и всупереч церковнослов'янській нормі *gen. dat., loc. sing. masc. loc. sing. neutr. gen. sing. masc.:* року (послідовно) оунижоного оуклону LE 1717, якого колвекъ сану V Biz 1718, сего пате^нту I Biz 1725, крoлевскаго маєстату I Biz 1730. и^з своего йовсагу L Biz 1733; *dat. sing.:* протывно обычаеви, отце^вскому рeшпектови, пастыреви LE 1717, Іoанови E Rosztoka 1733, тощо *loc. masc.* въ оригиналу, в^уроку F Biz 1727, оу монастиру I Biz 1725, на лазку E Rosztoka 1733, тощо *loc. neutr.* при залийцию L 1717. ще: *nom. plur.* отцеве, *gen. plur.* слуговъ.

Прикметники. У формах родового відмінка однини чоловічого роду українські закінчення -ОГО та церковнослов'янські -АГО (-ЯГО) зустрічаються приблизно в однаковій пропорції із тим, однак, застереженням, що у посадових грамотах домінують останні. У формах родового відмінка однини жіночого роду загальноуживаною є флексія -ОИ (-ОИ), вона зустрічається навіть у словосполученнях на означення титулів: ... всей земли уго^рской го^рной и долной земли намѣсникъ I Biz 1725, 1730, подъ протекцією сла^вной капитули LE 1717, славной столици, з^уенеральной конгрегації F Biz 1727, ни жадной власти L Biz 1733 тощо. Із цього видно,

що закінчення церковнослов'янського походження у родовому відмінку жіночого роду (на відміну од родового чоловічого) не набули поширення. На мою думку, з таким явищем (себто явищем української літературної мови) пов'язано те, що, незважаючи на виразні архаїзуючі тенденції з боку церковнослов'янської мови, закінчення родового відмінка однини жіночого роду -ИЯ (ІЯ) не набули поширення навіть і в останній третині XVIII століття, у той час як закінчення родового відмінка однини чоловічого роду -АГО (-ЯГО) стали загальносуживаними.

Розрізнення родових форм іменників у називному відмінку множини збереглося почасти лише у стійких словосполученнях (називний відмінок множини середнього роду: *прочая, вся священческая*), зовсім незначною є частка і стягнених форм. У формах усіх трьох родів спостерігаються закінчення -ИИ (ІИ) *masc.* честний отцеве J Csernina 1717, мы ниже писаны J hn. 1729 тощо *fem.* другіи землѣ J Csernina 1717, землѣ орючіи E Rosztoka 1729, *neutr.* добра рушоміи, нерушоміи, прочіи времена F Biz 1727.

Дієслово. У першій особі множини теперішнього часу в українській літературній мові загальносуживаним вважається закінчення -МО, хоча в надавничих текстах зустрічається церковнослов'янське -МѢ: виражаємо, желаємо, вручаємо тощо, LE 1717, конфі^рмуємо, ратифікуємо, апробуємо F Biz 1727, заказуємо, творимо L Biz 1733.

У посадових грамотах послідовно, а в інших випадках - спорадично зустрічаються форми аористу: І особа множини дахомъ, умислихомъ, послахомъ, M Biz 1718, поставихомъ, дахомъ I Biz 1725, 1730 Пор. також З особа множини: приведоша, побудиша LE 1717.

Серед прислівників заслуговують на увагу форми, утворені за допомогою суфікса -е: явне противитися J Csernina 1717, миле пожаданому собо^рне одержати, статечне жити, цале, вси згодне мѣти LE 1717, звичайне офірваль F Biz 1727.

Рукописи Бізанція істотно не відрізняються від тогочасних українських (галицьких) грамот і з погляду лексики. Крім елементів церковнослов'янських, спільносхіднослов'янських та спільноукраїнських, для лексичного складу характерна наявність полонізмів та латинізмів. Усі ці мовні шари відбивають особливості тогочасної української літературної мови. Тільки у посадових грамотах складова частина слов'янізмів помітно більша. Що стосується лексичних діалектизмів карпаторуського походження, то, як можна судити із

датованого 1773 роком документу E Rosztoka, вони виявляють себе лише у формі гунгаризмів.

Полонізми: тилко <--- п. *tylko*, ясневелможности <--- п. *jasnewielmożność*, цале <--- п. *cały*, мѣти <--- п. *mieć*, ледве <--- п. *ledwie*, завше <--- п. *zawsze*; назавше <--- п. *na zawsze*, южь <--- п. *już*, презь <--- п. *przez*; статечне <--- п. *statecznie*, оужичивши <--- п. *użyć*, превелебнѣшого <--- п. *wielebny* LE 1717, покута <--- п. *rokuta*, ижь <--- п. *iż*; жеби <--- п. *żeby*, M Biz 1718, якого колвекъ <--- п. *jakikolwiek*, скаргу <--- п. *skarga*; ясневелможному <--- п. *jasnewielmożny pan*, кого колвекъ <--- п. *ktokolwiek* J Csernina 1717, подлеглымъ <--- п. *podległy* L Biz 1733; ижь <--- п. *iż*, нехай <--- п. *niechaj*, гды <--- п. *kdy, gdy*, же *że*, ведлугъ <--- п. *według*, тераз <--- п. *teraz*, набоженства <--- п. *nabożeństwo*, грошы <--- п. *grosz*, юшь <--- п. *już* L Biz 1733 тощо. У лексичному складі української та польської мови дуже багато спільних елементів. Тільки беручи до уваги цю обставину, можна скласти правильну уяву про роль та значення полонізмів; характер та мета нашої роботи не передбачає, однак, більш детального заглиблення у цю проблему.

Латинізми: на целевбраномъ, коміссію, до суплики, принципиаль, термінъ, ревізія, декретована stb. J Csernina 1717, прелате, капитулѣ, подъ протекцією, за вѣкарѣуша енера^лного, о вѣкарі^у(!) жадномъ, на докуме^ть, в^упару, для публичной, нотари(й), респектовати, презь депутатовъ, до супликаціи, облигація stb. LE 1717, визитатора, цитовати M Biz 1718, на мистѣ целевбраня конгрегаціи, для тракты, публичныхъ, в^утрибуналѣ, на кондицію, дефектъ, персона, суцедуеть, релацію, testimoniaль, F Biz 1727, в оригиналу, діалектъ, конфирмуемо, ратификуемо, апробуемо, F Biz 1727, патентъ I B 1730, маестату I Biz 1730, до диспозиціи L Biz 1733.

Кількість лексичних гунгаризмів незначна, вони зустрічаються у підписах: Сакмарвармецьки, Середняго яраша LE 1717; у перекладі Бізанція: во вароши, немешувъ, нотаріушомъ F Biz 1727; телекъ, касало^в E Rosztoka 1733, яраша сегодскаго L Biz 1733.

Підсумовувачи, можна сказати: мова письмових документів, пов'язаних із діяльністю Бізанція та його співробітників, віддзеркалює узуальні норми української літературної мови періоду кінця XVII - початку XVIII століття. У багатьох джерелах, що належать до цього типу, карпаторуські (русинські) діалектні особливості взагалі відсутні. Це явище

узгоджується із лінгвістичними поглядами Бізанція, які він висловив щодо мовних особливостей "Казуїстики". У посадових грамотах наявність церковнослов'янських властивостей більш помітна.

«Казуїстика» єпископа Д. Г. Бізанція

У кінці XVIII століття у Трнаві єпископом Де Камелісом були видані для підкарпатських русинів дві книжки на староукраїнській мові: катехізіс та буквар¹³. Третя з черги карпатоукраїнська (русинська) книжка під редакцією Георгія Бізанція побачила світ у 1727 році також у Трнаві: Краткое Припадковъ Моралныхъ, или нравныхъ Собраніе Дховнымъ Особамъ потребное ... Въ Тернавѣ аѣкз (1727).

Казуїстика Бізанція написана в основному тією ж українською літературною мовою, що і попередні два твори, видані єпископом де Камелісом із тією, проте, відмінністю, що у «Казуїстиці» Бізанція значно більша частка фонетичних, морфологічних та лексичних церковнослов'янізмів. Уважаю за необхідне підкреслити, що у «Казуїстиці» ми зустрічаємося із тією ж абеткою та графікою, що і у творах де Камеліса.

На відміну від творів де Камеліса у «Казуїстиці» Бізанція можна відзначити декілька карпаторуських (русинських) фонетичних особливостей: е ю, о у, кы, гы. Пор. в^у Филипувку, въ Спасувку, въ Петрувку, Филипувку 238, пулчетверта 276, пятюнка 319, Петрувку 226, Спасувку 342, тощо, зрідка зустрічається і галицьке явище о > ѣ (і) іs: въ ветсѣм закон и 188, въ ветсѣмъ завѣтѣ 216, в^у чревѣ чистѣмъ 405, тощо; про наявність кы, гы свідчать такі приклади: сь краткымъ (на титульному аркуші), оубогым 127 тощо. Як і у випадку із творами де Камеліса, мовна редакція цього видання узгоджується із особливостями писемності, властивої рукописам церковних канцелярій. Можна зробити спостереження, що і у рукописах канцелярій Бізанція майже не з'являється місцеві особливості.

Подібно до творів єпископа де Камеліса «Казуїстика» Бізанція робила вплив на графіку та мовні особливості карпаторуської (русинської) церковної офіційної писемності¹⁴. У рамках даної роботи немає можливості вдаватися до детальнішого аналізу цього україномовного твору.¹⁵

Лист деканів-архипресвитерів до єпископа
Бізанція р. 1717

Ясне ве(л)можніи П[а]не, П[а]не прелате и добродѣю н[а]шь!

При залициню унижоного оуклону н[а]шого всѣхъ добръ такъ д[у]шевнихъ, якъ и тѣлеснихъ широко жичливе оужичивши: Собравъеся на назначонїи д[е]нь о(т) новопосвящен(ного) н[а]шого пастиря до кате(д)ра(л)нои резиде(н)ціи Му(н)кач(в)ско(и) не для иншо(и) причини, тилко для той, абысмо о(т) так да(в)нихъ часо(в) миле пожадан(ному) пастиреви належитую послуше(н)ства че(ст) о(т)давши и вдовольливостя(х) н[а]ши(х), которїи насъ зро(ж)нихъ оказїи о(б)тяжаютъ, моглисмо собо(р)не одержати оу(л)женїе, где знашо(в)ши о(т) ясьне ве(л)мо(ж)ности в(а)шо(и) заказъ, абы жаде(н) з насъ не важи(л)ся на то(т) назначонїи соборъ и день ставитися ве(л)цесмося сту(р)бовали и з великою боле(с)тию с[е]рдца тое заказанїе читали и яко будущїи назавше во(в)сѣмъ послушними ясне ве(л)можности и славно(и) капитулѣ с[и]нами немоглисмо иначе в то(и) жалости н[а]шой оутолити, т(и)лко през сїе до в[а]шо(и) ясне ве(л)можности писанїе н[а]ше, в которо(м) на пе(р)ше виражаемо же яко предъ ти(м) подъ протекціею такъ я(с)не велможности в[а]шо(и), якъ и сла(в)но(и) капитули во с[в]ято(м) соединенїи назавше зо(с)тавити желаемо, в то(м) еднак же великое подивленїе маемо, же противно стародавнему обычаеву дво(х) п[а]но(в) на едно(и) катедрѣ мѣти, на ко(т)рой статечне ледве жити и еде(н) может(ь) и то хйба с працы рукъ н[а]ши(х) зрозумѣваемо, на що вси згодне безъ образи ве(л)можности в[а]шо(и) и славно(и) капитули не позволяемо и за насилїе то маемо и имѣти хоцемо вел[можного] п[а]на Гео(р)гия Генадия Биза(н)тия о(т) б[о]га намъ и с[в]ятои столици апосто(л)скои избран(ного) єпископа за п[а]на и пастиря доживотного мѣти и ему належитое во все(м) послушанїе чинити обѣцуемо. Превелебнѣшого о(т)ца Іоана Іосифа Годе(р)марского за вѣкарїуша енера(л)ного цале вси згодне мѣти, а ни тежъ о титулѣ архима(н)дрїи, и котро(и) смо нигди не слихали, слїшати не хоцемо, перша причина же яко стала катедра му(н)качовская завше єдного еп[иско]па мала, а о вѣкарїу жадно(м) неслихала, по вторе яко

зрозумѣлисмо, же и самъ н[а]шъ епископъ е(ст) викариюшо(м), апосто(л)скимъ, по третє двома господинома никтоже работати можеть, да оугоде(н), имъ будетъ, по четверте суть таку причини, кот(ъ)рѣих на(м) про велику встидъ и невозможно писати, еднакъ же на докуме(н)тѣ една з ни(х) в париј в[а]шо(и) яснєвє(л)можности предпосилає(т)ся котро(и) для публично(и) цѣлому н[а]шому набоже(н)ству неславѣ не ти(л)ко клирь н[а]шъ, але и послухаче н[а]ши бо(л)ше южъ те(р)пѣти не можуть, што до оуваги яснєвєлможности в[а]шо(и) и славно(и) капитули подавши сами(х) себе яко послушни(х) с[и]новъ звиклому рєшпектови о(т)цовскому вручаемо и зостаемо слугами и б[о]гомодл(ъ)цами оуставичними на(и) ниш(ш)ими. Дѣялося въ катедрѣ Мукачовско(и) року аѣз [1717] дня ѳ [9]. ма(р)та на енера(л)но(м) соборѣ.

Іоанъ Коропецкїи архипрезвитерь катерда(л)ны(й)
Алексей Грицина намѣстникъ выз[нищкый]
Фе(д)оръ С(т[рои])нскїи намѣсни(к) сере(д)няго яраша
Никола(й) Доробрато(в)скїи намѣстникъ к[раинянскый]
Ѳеодоръ Феи(р)то(в)скїи намѣсни(к) сабо(л)[чскый]
Іоа(н) Ша(н)далскїи архипровѣтеръ оу(й)гелскїи в столиці
Земплєнск[ой]

Даниель Веляти(н)ску архипре(з) [витер]
ѡгочан(с)[кый]

Иерей Игнатъ Севлуши Огочан[скый]
П(р)отопо(п) Николає Ди(н)ца Оашулуи
Іереи Михайль нами[сник]ъ сере(д)ня[нскый]
Іерей Василий нами[сник]ъ у[н҃гва]рс[кый]
Стефанъ намѣстникъ рокитовѣски(й)
Васили(й) намѣстникъ турянскы(й)
Грегориі намѣстникъ бере(з)нянскы(й)
Іоанъ протопопа Аранош мед(д)ескии сакм[арскый]
Орлеску Липуль протопопа Сакмар вармецки
Васили(й) Яво(р)ницку нота(р)їуш с[обора] угелскаго
Михайль Запа(л)ску парох требѣшо(в)с[кый] нотару соборову
Іерей Ѳеодоръ Раковецкый
Іоанъ Добря(н)скїи пре(з)[витер] добря(н)скїи
Іереі Ба(л)шански
И другїи, котры презъ листи, котрї презъ депутатовъ,
котры(и)

про певни причини не могли ставити ся на то единомис(л)нѣ
приставають

[Другою рукою]

І сѣя приведоша н[а]сѣ и побудиша до супликаціи, же превелебнѣшу господинѣ Іоанѣ Іосифѣ Года[р]марску пове[р]нувши изъ Егря гевѣ и та(к) волочачися по духо(в)нѣх и и(х) трпячи не оуважаючи наконецъ двояко(и) облигациѣ свое(и) ани яко монах до мона(с)тиря, ани яко вікарїи ку еп[иско]пу, але на стародавнюю свою господу Бобовищѣ на поругание всему клиру н[а]шому важи(л)ся зостати, о(т)кал(ь) пославши человека своего до монастыру, абы слуговъ ман(а)сти(р)скихъ и жедляру обители з ихъ пребыванїи розогналъ до з [7] дне, те(р)минѣ имѣ назначивши, а то не для и(н)шого то(л)ко абы з обители мана(с)ти(р)ско(и) пустыню оучини(л).

Переклад латиномовного звіту (реляції) Березького комітату про заснування Імстичівського монастыря

Мы весь соборъ панувъ велкомо(ж)ныхъ и немешувъ славной столицѣ Берегъ даемо на памятку, ижъ гды мы в року семь г[оспод]немъ ахос [1676] тераз текушо(м) дня же ї [10] м[еся]ца февруарїа во вароши Мукачови дня же и на мистѣ целеврованя енералной конгрегациѣ н[а]шой и во прочїи времена звичайном для тракты и доконченя нѣкоторыхъ публичны(х) спаръ многїи числом в трибуналѣ или судѣ сѣдѣлисмо в тое время его м[и]л[о]сть г[оспо]д[и]нѣ Георгїи Кишфалуди вицешпанѣ сей столицѣ н[а]шой по(д) власною своею присягою в енералном кролевства декретѣ о сем замкненою и выложеною нам пре(д)ложилъ во той способъ, яко в року семь г[оспод]немъ ахос [1676] тера(з) текушомъ во дни же близъ минушїи велебны(х) г[оспо]д[и]нѣ Іоанѣ мстичовскїи вл[а]дыка тогожде мѣсца всѣ добра свои рушомїи и нерушомїи нимъ приобрѣтїи на честь храму о(т) нихъ звичайне церковь именованого мѣста тогожде Мстичова офѣроваль и призналъ бїл по(д) таковою на певно кондицію, и(ж) ежели бї нѣкїи з потомковъ его и наслѣдник(в) достойнїи будутъ по преставленїи его, онїи ведлугъ степенев нехай наступуютъ на першенства(х), припаткомъ же нѣкоимъ взгядомъ наслѣдниковъ и потомковъ, дабы дефектъ былъ, в такое время каяколько годна и достойна персона нехай сущедуетъ и наслѣдуетъ. О[т]туду мы на достовѣрную пана вицешпана н[а]шого реляцію листъ н[а]шъ свѣдѣтельствующїи по(д) звичайною столицѣ н[а]шой печатїю выданнїи, да бї бїль и утве(р)жденнїи позволилисмо общею побужающею справедливостїю.

Данъ з енералной конгрегації н[а]шої в вароши Мукачови дня і [10] м[і]сяца фебруаріа року г[оспо]дня ахос [1676] целеброваной.

Читанъ, публикованъ, оглашень и выданъ мною Фра(н)циш-комъ Туроци прися(ж)німъ столици нотаріушо(м).

Сей тестимониал фундації с[вя]той обители монастира мстичовского нам презентованы(й) в оригиналу латинскомъ видѣвшє и пречитавше и слово о слови з того(ж) оригиналу на рускій діалектъ преложєный конфи(р)муємо, ратификуємо, и апробуємо во кафедрѣ н[а]шой мукачо(в)ской дня кз [27] апріля року о(т) воплощеніа слова б[о]жїя аѡкз (1727) Гео(р)[гїи]ен(н)адїи Биза(н)тїи еп[иско]пъ мукач[овскїи] і марамороскїи р[ука]вл[асна].

Призначєнія А. Тузика парохом р. 1730.

Гео(р)гїи Ген(н)адїи Биза(н)тїи, м[и]лл[о](с)тїю б[о]жїєю и с[вя]т[а]го ѳрону ап[о](с)т[ол]скаго еп[иско]пъ Севастїйскїи, Мукачо(в)скїи, Марамороскїи и Спискїи и всей земли Угор(с)кой Го(р)ней и Долней намѣсникъ, ап[о](с)т[ол]скїи на(д) лю(д)ми восточнаго наб[о]же(н)ства до земли и сторонахъ до ней належачи(х) и и(х) пресвѣтлаго кеса(р)скаго и кролевскаго маєстату совѣтникъ.

По бл[а]годати и власти прес[вя]таго и животворящаго д[у]ха дан[н]ой смѣренїю о(т) высочайшаго а(р)хієрея г[о](с)[под]а н[а]шего І[су]са Х[рис]та поставихомъ сєго б[о]гобойнаго мужа Андрея Тузика въ ч[е]тци, пивци, заклинатели, вратари, свѣщеносци, поддїяконы и дїяконы, извѣстно о немъ сувѣрившєся, судихо(м) достойна быти с[вя]таго сана пре(з)вѣте(р)скаго на ... же поставихомъ его по всѣхъ степєне(х) по чину с[вя]тїя восточнїя ц[е]ркве до пр[е](с)т[ол]а и храму рождєства прес[вя]той дѣвы Б[огороди]ци до села Гера(л)та, о не(м)же всякому прїємлюєму сїє н[а]ше а(р)хієрейское писанїє свѣдител(ь)ствуємъ, яко достоинъ е(ст) не точїю вся с[вя]щеническая дѣйствовати службы, но исповидаючи(х)ся ему истин(н)о же кающи(х)ся грѣховъ свои(х) имать власть вязати и ршити во людєхъ прилучающаяся нера(з)судителна же намъ о(т)сылати, а о(т) пре(с)т[ол]а до негоже постановле(н) єсть бе(з) нашой вѣдомости и повелєнїя не можно ему

о(т)ходить да не с[вя]тая коче(р)мстуй яви(т)ся, но тому же единому выну присѣдай, даже до повеленія долженъ о сп[а](с)еніи д[у]шъ члов[е]ч[ес]кихъ пешися прилежаиже тре(з)винію, чтенію и поученію соде(р)жаши ко кля(т)венному своему обѣту ажъ до с[ме](р)ти съединеніе съ с[вя]тою ри(м)скою ц[е]рковію. И извѣстнѣйшаго ради увѣренія си(х) всѣхъ дахомъ ему сіе рукою н[а]шею а(р)хіереискою при власной печати писаніе в кафед(рѣ) Мукачо(в)[ской], дня кв [22] февруарія року аџл [1730]

Гео(р)гій Ген(н)адій Биза(н)тій еп[иско]пъ Мука[човскій] і Марамо(р)[ис]кій.

Признчення Гедеона Пазина игуменом р. 1730

Всѣмъ которимъ о томъ вѣдати належить, симъ писанію(м) н[а]ши(м) а(р)хіереискимъ вѣдомо(с)ть творимъ ижъ сего пате(н)ту указателя ч[ест]наго о(т)ца іеромонаха Гедеона посилаемо з монастыра кате(д)ра(л)ного Му(н)качовского до монастыра Березнныцкого за ігумена, которому другый, иже по(с)лан(н)ый будет належитое послушаніе съ іноческимъ смиреніе(м) творити долже(н) буде(т), якоже и о сихъ всѣхъ извѣствованія ради дахомъ ему сіе н[а]ше а(р)хіереиское писаніе нашою печатою оутве(р)жден(н)ое. У кате(д)рѣ Му(н)качо(в)ской дня иі [18] февруарія року аџл [1730]. Ген(н)адій Биза(н)тій еп[иско]пъ Мукач[овскій] і Мара[мороскій] р[ука] в[ласна].

Договір між ростощкою церквою та Іваном Ломпесм р. 1733

Року аџлг [1733] м[е]с[я]ця априля иі [18] дня сталася покла(д)ка ме(ж)ду ц[е]рковію Ростощкою и ме(ж)ду бл[а]город(н)ны(м) Іоано(м) Ломпе стороны телека в селѣ Ростощѣ Ду ... іскои в сла(в)ной столи[ци] Огочи и земли в того(ж) села поля(х) и касал(л)ова(х) до того(ж) телека належаши(х) о(т) негда бл(а)городнаго ѳеодора Ломпея при см[е](р)ти тешталованыхъ на тую(ж) це(р)ковь ростощкую вѣчными часы, же ц[е]рковь притѣснившись взаємны(м) способо(м) взяла а выш(ш)еименованого Ломпеи Іоана золотыхъ уго(р)ськихъ вон[ашовъ] М (40) то е(ст) чотыри деся(т) и так ц[е]рковь, а та(к) ц(е)рковь придае(т) тому(ж)

Ломпей Іоанови в заставу или залогъ выш(ш)еописанный телекъ и(з) землями орючими и касал(л)овами на обѣдвѣ поля то ес(т) на едно поле вышнее землѣ орючїи в е(д)но(м) мѣстѣ три, а в друго(м) двѣ и касал(л)овы пе(р)выи зовемый копа(н), другый каса(л)ло(в) загорода Микитова, третїй касал(л)ов в Якубово(м), четве(р)тыи на ла(з)ку, а на ни(ж)нее поле в едно(м) мѣстѣ землѣ двѣ добрѣ, а другїи двѣ в друго(м) мѣстѣ по(д)лѣ, а за яругами на еде(н) д[е]нь ораня, а касал(л)ов еде(н) ... другыи в тьи всѣ землѣ орючїи и касал(л)овы выш(ш)еіменован(н)ыи Іоан Ломпе бирова(в) як свои(х) вла(с)ныи(х) за чотыри роки, по выполненїю пакъ чотыре(х) роко(в) ц[е]рковъ ежели схоче(т) той іовсаг вувалтовати, абы положивши ю(ж) велеіменованому Іоану златы(х) уго(р)скы(х) л [30] то е(ст) тридеся(т) (мочи будут) а на ц(е)рко(в) заставуе(т) деся(т). На што мы для лѣпшаго увѣренїя си(х) всѣхъ даемо ему сіе рукою н[а]шею а(р)хіереискою подписан(н)ое при звыклои печати писанїе, в каѳе(д)рѣ н[а]шои Мукачовской року и дня выш(ш)е писан(н)аго.

Ген(н)адїи Биза(н)тїй еп[иско]пъ Мукач[овскїй] і Мара[морыскїй] р[ука] в[ласна]

- ¹ Дулишкович И.: Исторические черты Угро-Русских III. Унгар, 1877. 46-91; Zsatkovics Kálmán: Az egri befolyás és az ez ellen vívott harc a munkácsi görög szertartású egyházmegye történelmében. Századok XVIII. 1884. 773-779.
- ² Hodinka Antal: A munkácsi görög katolikus püspökség története. Budapest, 1910. 477, 533, 536.
- ³ Гаджега Б. Додатки к історїї Русинов и руських церквей в Ужанской жупі. Наукові записки Товариства Просвіти III. Ужгород, 1924. 155-239. его же: Податки к історїї Русинов и руських церквей в жупі земплинской. X. 1934. 17-120; XI. 1935. 17-182; XII. 1937. 37-83.
- ⁴ Панькевич І: Матеріали до історїї мови південно-карпатських українців. Науковий збірник Музею української культури в Свиднику. т. IV/2. 1970. 22-24.
- ⁵ Hodinka Antal: A munkácsi görög katolikus püspökség története. Bp. 1910. 536, 587.

- ⁶ **Годинка А.:** Собор нашей діоцезії, подержаний в днях 11-12 марта 1726 рока в Егері (Eger). *Литературна Неділя*. IV. Унгвар, 90-94.
- ⁷ Листок VI. 1890. № 20.
- ⁸ **Дулишкович И.:** Исторические черты Угро-Русских. III. Унгвар, 1877. 77.
- ⁹ Краткое припадковъ моральныхъ или нравныхъ Собрание... Трнава 1727. 179, 318, 319 и д. д.
- ¹⁰ Наведені у роботі висновки зроблено на основі аналізу таких рукописів Бізанція та його співробітників:

LE 1717

Лист деканів-архипресвитерів до єпископа Бізанція. Місце зберігання: Архів архієпископату. Егер. *Archivum vetus*, № 238.

J Csernina 1717

Протокол судового позову. Місце зберігання: Архів архієпископату. Егер. *Archivum vetus*, № 239.

L Biz 1725

Бізанцій призначає Ольшавського священником. Архів Маріяповчанського монастиря. Документи XVIII століття.

F. Biz 1727

Переклад латиномовного звіту (реляції) Березької жупи. Переклав: єпископ Бізанцій. Місце зберігання: Архів Маріяповчанського монастиря. Документи XVIII століття.

I Biz 1730

Бізанцій висвячує у священники А. Тузика і призначає парохом Гіралтоц. Місце зберігання: Пряшівський Державний Архів. *Sign.* 34. 1730-32.

I Biz 1730/a

Бізанцій призначає монаха Гедеона ігуменом монастиря у Малому Березному. Архів Маріяповчанського монастиря. Документи XVIII століття.

E. Rosztoka 1733

Договір між ростоцькою церковою та Іваном Ломпесм. Місце зберігання: Архів Антонія Годинки. Бібліотека Угорської Академії Наук. Відділ рукописів. Ms 4818-4819.

- ¹¹ **Мишанич О. В.:** Література Закарпаття XVII-XVIII століть. Київ, 1964. 28-37.

- ¹² **Панькевич І.:** Нарис історії українських закарпатських говорів. Ч. перша: Фонетика. *Acta Universitatis Carolinae. Philologica* I. Praha, 1958. 174-175.
- ¹³ **Magocsi P. R. - Strumins'kyj B.:** The first Carpatho-Ruthenian printed Book. *Harvard Library Bulletin* XXV. 1977. 3. 292-309; **Udvari István:** Refleksje o języku okólnika i utworow drukowanych J. De Camelisa. (1641-1705) Dane do ukraińskiego piśmennictwa oficjalnego). *Slavica* XXIV. Debrecen, 1990. 45-56.
- ¹⁴ **Удвари И.:** Некоторые данные о восточнославянской скорописи (На основе закарпатско-украинских деловых документов XVIII в.). *Hungaro-Slavica* 1988. X. internationaler Slavistenkongress Sofia 14-22. September 1988. Red. Király P. - Hollós A. Budapest, 1988. 245-259.
- ¹⁵ **Сабов Е.:** Христоматія церковно-славянских и угрорусских литературных памятников. Унгвар. 1893. 14.

К переходу *e* > *o* с позиций ареальной конвергенции

И. ПИЛАРСКИЙ

0. Из исторической фонетики русского языка известно, что на определенном этапе развития звуковой системы любое [e] и в положении после мягкого и перед твердым согласным (или недиезным слогом) изменилось в [o]. Изменение затронуло не только древнее и. -е. *e* (*t'esъ* > *t'osъ*), но и *e* > *ь* (*ř'ьsъ* > *ř'os*), однако никак не повлияло на гласный *ě* (*ř'ěsъ* > *лес*). Хронологически переход можно отнести к периоду с XII по XIV в. В этой небольшой статье я хотел бы остановиться на одном неудовлетворительно выясненном аспекте данного фонетизма, именно на его причинах и возможных ареальных связях внутри евразийского языкового союза.

1. В традиционных учебных пособиях по истории языка явление, как правило, только регистрируется в качестве факта, а насчет его этиологии обыкновенно приводится, согласно классической трактовке Шахматова, предположительный лабиовелярный характер последующего согласного, которому якобы просто уподобился вокалический тембр (Иванов 1983:197; Петер 1976:90). Иноязычные параллели и связь с близкими по существу явлениями остаются в большинстве случаев без внимания. (Некое исключение в этом отношении образует только Успенский 1988:159, который изменение называет «своеобразным проявлением гармонии гласных».) Упомянутое выше объяснение, на мой взгляд, не совсем отражает суть дела

и выдвигает, по крайней мере, два вопроса:

1.1. Если непосредственной причиной является лабиовелярность следующего согласного, трудно объяснить, почему в некоторых других славянских языках, как, например, в чешском, словацком, словенском или сербохорватском, вовсе нет следов такого перехода (с.-х. *led*, ч. *led*), в других же языках он встречается нерегулярно (напр. укр. *чорний*, но *лес*). Ведь отрицать любой оттенок лабиовелярности у твердых согласных этих языков через несколько столетий после распада праславянского единства затруднительно.

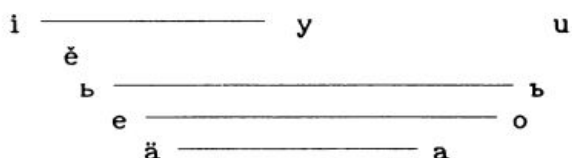
1.2. Если лабиовелярность следующего согласного повлекла за собой существенное изменение тембра гласного *e*, непонятно, как она могла не повлиять на тембр относительно близкого по ряду и подъему гласного *ě*. Традиционная аргументация, будто в эпоху перехода «звук *ě* еще отличался по своему качеству от *e*» (Иванов 1983:199), собственно говоря, ничего не объясняет, так как не дает ответа на вопрос, почему именно небольшое качественное расхождение обусловило неодинаковую судьбу данных звуков.

2. На основании таких и подобных рассуждений назревает необходимость более комплексного подхода к этому вопросу, который можно сформулировать в виде следующих трех требований: 1) учитывая, что основной фонетико-фонологической единицей, в пределах которой в течение долгого времени происходило большинство славянских звукоизменений, является слог, целесообразно попытаться найти решение на уровне первоначального открытого слога, т. е. сосредоточиваясь на действии не последующего, а скорее предшествующего согласного; 2) заменить одностороннюю фонетическую трактовку фонологическим подходом; 3) включить вопрос в более широкий ареальный контекст с учетом однотипных явлений других языков. На фоне намеченных принципов анализа перед нашими глазами вырисовывается следующая картина:

2.1. На уровне первопричин оказывается, что в основе перехода $e > o$, как других аналогичных фонетизмов разных языков, лежит стремление к внутренней ассимилированности слога, общее всем языкам евразийского ареала (см. Якобсон 1917; Лампрехт 1987:125). В результате осуществления принципа внутрислогового сингармонизма в пределах слога допускается сочетание лишь одинаковых по тембру гласных и согласных (т. е. только передних или только непередних); в фонологическом аспекте это означает, что в этой стадии друг другу противопоставлены не отдельные фонемы, составляющие слог, а слоги с единым тембром в целом, как нерасчленимые

единицы, которые, по терминологии Аванесова (1947:48), можно назвать *силлабемами*. Такое положение вещей приводит к ослаблению фонологической оппозиции передних и непередних гласных, которая в силу принципа языковой экономии впоследствии снимается также в фонетическом плане: $\ddot{a} > a$ (т. наз. «якавизм» - см. Труммер 1982; 1983:138), $e > o$ и т. п. Итак, последовательное осуществление принципа гармонии в конечном счете порождает дисгармонию: это не парадокс, а диалектика развития.

2.2. Под таким углом зрения др.-р. переход $e > o$ оказывается продуктом фонологической переоценки праславянской *силлабемы* в связи со становлением тембровой корреляции согласных: иными словами, первично оно обусловлено не твердостью последующего, а, наоборот, мягкостью предшествующего согласного. Тем и объясняется оба поставленных выше вопроса: В таких языках, как сербохорватский и чешский, смягчение перед e было изначально слабым, а позже было полностью упразднено (ср. Лампрехт 1987:125-127), следовательно, условия для нашего перехода никогда не сложились. (То же самое касается украинского языка, за вычетом позиции после шипящих, которые, кажется, долгое время сохраняли свою мягкость: *вчора*, *шов* и др.) Что же касается непроведения изменения в слогах с ятем, причина кроется в известной асимметричности др.-р. системы гласных фонем, в которой \ddot{e} был внепарным, т. е. не входил в оппозицию по признаку передний : непередний и поэтому, так сказать, не во что было ему превратиться.



2.3. Несмотря на определяющую роль предшествующей мягкой согласной фонемы в механизме рассматриваемого звукоизменения, нельзя упускать из виду также значение последующего согласного или даже последующего слога в целом. Изменение наступает лишь перед недиезным слогом или перед твердым согласным (*vešolyj* : *vešel'je*). Это можно интерпретировать как переосмысление принципа гармонии перехода от нарушенной гармонии слога к гармонии слова, которая, впрочем, тоже представляет собой общую черту

евразийских языков.

2.3.1. Примечание. В отличие от определяющей роли предшествующего и регулирующего действия последующего согласного/слога ударение влияет на изменение лишь с виду: *вёл* - *веду*. Однако переход *e* > *o*, по-видимому, произошел и в безударных слогах (ср. укр. *чоловік*, северновеликорус. диал. [ʋodú], [ńosú] - Иванов 1983:196), но здесь его результат затемняется вследствие аканья и этимологического правописания.

2.4. В дальнейшем можно констатировать, что в нашем более широком толковании явление носит очевидный ареальный характер, поскольку оба его момента (т. е. 1) дефонологизация оппозиции *V* : *V'* после мягкого и 2) распространение принципа гармонии на уровень слова) имеет многочисленные переллели в языках Центральной и Юго-восточной Европы.

2.4.1. Лехитская группа; польский язык:

<i>e</i> > <i>o</i>	<i>b'er'eš'ь</i> > <i>bierzesz</i>
	<i>b'er'ot'ь</i> > <i>biorą</i>
<i>ä</i> (< <i>ě</i>) > <i>a</i>	<i>mär'it'i</i> > <i>mierzyc</i>
	<i>mära</i> > <i>miara</i>

2.4.2. Чешский и словацкий языки:

<i>ä</i> (< <i>ę</i>) > <i>a</i>	<i>řät'ь</i> > <i>pět</i> / <i>pät'</i>
	<i>řät'yj'ь</i> > <i>pátý</i> / <i>piaty</i>

2.4.3. Болгарский язык:

<i>ä</i> (< <i>ě</i>) > <i>a</i>	<i>mär'iš'ь</i> > <i>мериш</i>
	<i>mära</i> > <i>мяра</i>

2.4.4. Румынский язык:

<i>ä</i> (< лат. <i>ę</i> откр.) > <i>a</i>		
	<i>*fät'e</i> >	<i>fete</i> (фете)
	<i>*fätə</i> >	<i>fată</i> (фатэ)
<i>e</i> > <i>ə</i>	<i>*suf'er'i</i> >	<i>suferi</i> (суферь)
	<i>*suf'eru</i> >	<i>sufăr</i> (суфэр)

i > y	*vīnd'e	>	vīnde	(винде)
	*vīndu	>	vīnd	(вынд)

2.4.5. В др.-р. языке данный тип изменения представлен не только в виде перехода $e > o$. В ту же самую модель хорошо вписывается также более древнее изменение $\ddot{a} > a$: $m' \ddot{a}so > m' aso$.

3. В заключение остается подвести итоги сказанному. Переход $e > o$ следует понимать в более широком контексте изменений, происшедших в языках евразийского союза в связи с кульминацией тенденции к гармонии слога. Поскольку в рамках синтагмы фонологическая различительная функция все больше закрепляется за тембровой оппозицией согласного, оппозиция $V : V'$ постепенно подвергается нейтрализации, что на уровне фонетики выражается в виде изменения переднего гласного в непременный соответствующего подъема. Условия изменения притом подчинены принципу гармонии слова. Явление составляет общую изоглоссу тех евразийских языков, которые развивают тембровую корреляцию согласных. Эти языки образуют своего рода микроареал внутри евразийского союза. На периферии ареала (чешский, лужицкие языки, болгарский), где сфера корреляции мягкости ограничена, явление охватывает менее пар гласных, а вне ареала (сербохорватский, словенский, македонский языки) оно вовсе не встречается. В совсем сжатом виде можно подытожить, что переход $e > o$ – не изолированный и сугубо фонетический процесс, а ареальное и одновременно фонологически обусловленное системное явление.

Литература

Аванесов 1947

Аванесов, Р. И. Из истории русского вокализма. Звуки i и y . Вестник МГУ 1. Москва.

Иванов 1983

Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка. Москва: "Просвещение".

Лампрехт 1987

Lamprecht, A. Praslovanština. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

Петер 1976

Петер, М. Историческая грамматика русского языка 1. Введение и фонетика. Budapest: Tankönyvkiadó.

Труннер 1982

Trummer, M. Zum Jakavismus im Bulgarischen und Slawischen. Die Slawischen Sprachen 17, 119-124. Salzburg.

Труннер 1983

Trummer, M. Slawisches in der Entwicklung des rumänischen Lautsystems. Die Slawischen Sprachen 4, 133-142. Salzburg.

Успенский 1988

Успенский, В. А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). Budapest: Tankönyvkiadó.

Якобсон 1971

Jakobson, R. К характеристике евразийского языкового союза. In: Selected Writings I. Second, expanded edition. The Hague - Paris: Mouton.

A Contribution to the Passive in Russian

A. SALGA

1. It can hardly be the task of this short study to give an overall review of the wide range of aspects from which the different ways of expressing active and passive constructions have already been examined either as part of a typological survey or in different languages.

Specialist literature on the category of voice (*зало́г*) in Russian is also very rich and is one of the chief points of interest of contemporary linguistics as well. The essence of the contradictory views is formulated by V. V. Vinogradov as follows: "... в понятие залога вкладывалось и вкладывается крайне разнообразное и противоречивое лексико-грамматическое содержание."¹

In this connection several questions can be raised:

- a) What are the criteria for defining voice?
- b) Is it a morphological or syntactic category?
- c) What means of expression does it have?
- d) Does the category of voice cover the whole verbal lexicon? etc.

The problem the investigator has to face is rather complicated as the Russian verb has no endings which would be characteristic of voice forms only. The situation is different, e.g., in German: *ich lobe* ('я хвалю'), *ich lobte*, *ich habe gelobt*; *ich werde gelobt* ('я хвалим), *ich wurde*

gelobt, ich bin gelobt worden, etc.

2. The polysemy of *-ся* has also given rise to contradictory views in linguistics. In 1880 V. Dal' wrote that it was unnecessary and also impossible to separate the different voices of Russian as they were simply "безграничная путаница... Распределение глаголов на залогов школярство, одно из тех пут, которые служат для притупления памяти и понятий учеников."² This approach follows from the spirit of the age or, to be more exact, from the Grammar of M. V. Lomonosov,³ who distinguished six voices on the basis of syntactic and semantic features: *действительный, страдательный, возвратный, взаимный, средний, общий*. On the whole, F. I. Buslajev follows Lomonosov in his classification: *действительный, страдательный, средний, возвратный (собственно-возвр.), взаимный, общий*,⁴ i. e. he does not separate voice from the transitive - intransitive character of the verb. The interpretation given by F. F. Fortunatov⁵ is entirely different. In his view the category of voice indicates the relation of the action process to the subject and is expressed by the postfix *-ся*. Verbs with *-ся* and those without it fall into two voices: a) non-reflexive (*невозвратный*) and b) reflexive (*возвратный*). Only those verbs have non-reflexive forms which can derive their reflexives by adding the postfix *-ся*. On the other hand, verbs derived from transitives should be considered reflexive. The following statement also deserves attention: the verbs which have only a) forms with *-ся*, b) forms without *-ся*, c) forms with *-ся*, but are derived from intransitive verbs, are not characterized by the category of voice. Thus, in Fortunatov's theory voice and the (in)transitivity of verbs become separated, but their close interaction can also be observed.

3. According to the traditional approach the notion of voice reflects two systems of relations in reality. For one of them the term 'object' is dominant (V-O), the other has the 'subject' (*деятель, агент*) in the centre (V-S or S-V).⁶ This is the reason why some authors, e.g. V. A. Bogorodckij⁷ and A. V. Šapiro,⁷ acknowledge that voice expresses a relation to the complement, i. e. the object. Here the classification of voice is founded on the transitivity of intransitivity of verbs. According to this two voices may be postulated: active (transitive) and medial (intransitive): *Мальчик моет лицо. - Мальчик моется*. In this case voice is expressed syntactically in the relation of the verbal

predicate and the direct object. The transitivity of intransitivity of the verb is indeed related to voice but does not coincide with it!

Other researchers - followers of D. N. Ovsjanniko-Kulikovskij⁸ - take into account the quality of difference and realiton between the action and the subject. In A. V. Isačenko's⁹ view the relation between the verb and the direct object should not be defined as a voice relation proper, so the (in)transitivity of verbs should be excluded from the morphological categories of the Russian language. The active (*действительный*) and passive (*страдательный*) voices are treated by him in a two-pole privative opposition where it is always the passive that is strong and marked. In the passive construction (*Дом строится; Дом построен*) the action denoted by the verb is directed at the subject of the sentence (*дом*). In fact, this direction of the action contains the general semantic feature that is characteristic of the passive. The same concept is reflected in the Academic Russian Grammar of 1970: "Собственно залог - это лексико-грамматическая или классификационная категория глагола, выражающая отношение действия к субъекту в определенной системе оппозиций."¹⁰

The acceptance of the dichotomic principle - in which the relation of only two elements is taken into account (S-V or V-O) - has been rejected by many linguists. In the classification of Russian voices the trichotomy has become widespread, according to which this category conveys the most general relations between the subject, the process and the object (S-V-O).

Below a section of the Academic Grammar of 1952 will be quoted, as it is this definition - or its modified versions - that is repeated by various sources: "Категория залога обозначает отношения между субъектом действия (производителем действия) и объектом, находящие свое выражение в форме глагола."¹¹

In the first volume of the 1980 Grammar a similar formulation can be read: "Залог - это категория, образуемая противопоставлением таких рядов морфологических форм, значения которых отличаются друг от друга разным представлением одного и того же соотношения между семантическим субъектом, действием и семантическим объектом."¹²

This definition is not considered acceptable by many linguists either. According to one trend the definition of voice should be focused on the parts of the sentence on the

one hand, and on the semantic categories of subject and object, on the other. It is in this sense that V. Z. Panfilov defines voice: "Категория залога характеризует то или иное соотношение подлежащего (грамматического субъекта) и дополнения (грамматического объекта) с субъектом и объектом действия, определяемое глаголом и приуроченное к его определенной форме."¹³

A. A. Holodovič and his followers have played an important role in universal-typological research. In their studies they examine the relations of two objects. One of them is of a semantic character (e. g., *партиципанты ситуации*), whereas the other is syntactic (*предикат с его переменными: а) актантами-подлежащими и дополнением и б) сирконстантами, т. е. обстоятельствами*).

V. S. Pakrovskij defines diathesis as follows: "Условием называть *диатезой* соответствие членов предложения партиципантам ситуации, фиксируемое в исходной конструкции, можно назвать *исходной диатезой*. При переходе от исходной конструкции к производной происходит изменение исходной диатезы. Суть изменения заключается в том, что партиципаны обозначаются не теми членами предложения, что в исходной конструкции, или на лексическом уровне не обозначаются вовсе. Диатезу, фиксируемую в производной конструкции, будем называть *производной диатезой*. Деривационные отношения, связывающие исходную и производную конструкцию, условимся называть *залоговыми*."¹⁴

Such a wide interpretation, however, can hardly be accepted. In his review¹⁵ L. Dezsó emphasizes the expediency of using this term in its traditional sense for denoting those diatheses in which the basic form of the predicate undergoes a change.

According to Xrakovskij's theory the information conveyed by the sentence is equal to the information to be found in the lexicographic interpretation of the verb marking the peak of the whole sentence. He considers the verb to be a predicative word denominating the situation which is further concretized by participants (semantic components, objective variables). The participants which take part in the interpretation of the situation are connected by hierarchic relations. This working hypothesis of Xrakovskij's is supported by his stating that it is always the subject and the object to be named first, the instrument following these. Consequently, in his hierarchy the subject can be found on the first level, the object on

the second, the instrument and the rest of the participants on the third. The existence of the first level is the precondition for the second but is not its compulsory determinant. Similarly: the existence of the subject and the object (the first two levels) is a precondition for the participant of the third level but does not make it compulsory.

This is, however, only a very short survey of Xrakovskij's concept. The theory has been unambiguously and suggestively criticized by M. Füredi.¹⁷ He proves that Xrakovskij has not given an exact definition of the terms participant, subject and hierarchy. What is more, in fact he tries - although the attempt is indirect - to project the basic word order of Russian affirmative sentences onto the linguistic material.

In a certain sense, A. V. Bondarko's¹⁸ so-called *системно-полевой подход* theory contradicts the universal-typological trend. According to Bondarko, the grammatical category of voice forms the kernel of the 'functional semantic Field' which emerges as a result of the interaction of different linguistic (morphological, syntactic, derivational and lexical) means to express the linguo-semantic relation of the action to its logical subject and logical object. In his theory, which is applied to the Slavic languages as well, he rejects the traditional term *подлежащее* and introduces the new concept of *носитель глагольного признака*. This embraces not only the subjects of sentences of the *Отец написал статью* or *Статья написана отцом* type but also other words of functional-structural value, e. g. the full-form active and passive constructions (*отцу, написавшему статью...; в написанной им статье...*).

He writes later on: "Залог передает значение центробежной (при активе) или центростремительной (при пассиве) направленности глагольного признака по отношению к его носителю. Данная грамматическая категория находит свое синтаксическое выражение в оппозиции конструкций, основное различие между которыми заключается в соответствии носителя глагольного признака либо логическому субъекту (актив), либо логическому объекту (пассив), а морфологическое выражение - в глаголе (в славянских языках - в рядах форм невозвратных глаголов, составляющих морфологическое ядро актива, форм страдательных причастий, являющихся морфологическим ядром пассива, и форм возвратных глаголов, распределяющихся между активом и пассивом)."¹⁹

The direction mentioned above may also be expressed by linguistic means other than voice proper: the derivationally functioning *-ся* postfix or the so-called 'lexical passive' (*он терпит обиды; они испытывают давление со стороны; разговаривать друг с другом и т. д.*). These forms, however, belong to the periphery of voice.

4. After this brief survey of the specialist literature the present author makes an attempt to give a comprehensive characterization of the category of voice, which is based on the theories reviewed above and on his own research.

Voice is a grammatical category which denotes the relation of the action to the subject and the object in a definite opposition. In defining voice one should take into account the relation of the verbal action both to the subject and the object (S-V., V-O). Its two varieties differ in the action being directed either at the subject (the performer of the action) or at the object. If the action has its origin or is concentrated in the subject an active construction comes into being and the verbs of the active voice are used. In this case the attention is focused on the subject performing the action or getting into a certain state. In passive constructions, the object at which a certain action is directed receives special emphasis. The action itself is expressed by verbs of the passive voice, the denotation of the subject is optional.

Consequently, the use of active and passive constructions (*Учитель проверил тетради учеников; Тетради учеников проверены учителем*) is closely connected with the topic-comment structure of the sentence, in other words, lexically identical sentences may differ in their voices. According to V. Z. Panfilov: "Сущность грамматической категории залога состоит не только в том, что она фиксирует различные отношения актантов к действию, но она состоит также в различии хода познания и языковых способов выражения этих отношений."²⁰

In active constructions with a direct word order the subject performing the action is the topic of the sentence, whereas the part following it is the comment: "*Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад.*" (Л. Толстой). In passive constructions, on the contrary, the object is the topic and the subject is the comment: "*Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами.*" (М. Горький).

An active construction is used when the object of the action is given and known, with an inversion: *"Чистым воздухом подышим в тесном царстве ивняка, песню иволги услышим, а в осоке - кулика."* (С. Васильев).

The functional distribution of active and passive in Russian is not equal. Active is much more frequently used in all styles. Passive is limited and used in the written (most of all legal) language.

How is the passive formed? What formal features does it have? The passive can be expressed by A) morphological, B) syntactic means. Its morphological features are a) special formations (passive participles - *разыскиваемый, пойманный, пойман*), b) the *-ся* postfix used for the derivation of forms (*Ошибки устраняются учениками*). The most 'reliable' means to express the passive is the passive participle: (1) *"Нами ты была любима и для милого хранима"* (А. Пушкин); (2) *"Гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра."* (Л. Толстой); (3) *"Как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны."* (И. Тургенев); (4) *"Врага отбросила Москва, и спасена Россия."* (А. Твардовский)

In sentences (1), (2), (3) there are syntactically complete passives, as besides the verbal word the indirect object is also present (*творительный действующего предмета: любима нами, прерываемый выстрелами, охваченный дыханием весны*). If the sentence has a passive participle which is not adjectivized, a passive construction emerges even if the subject expressed by the instrumental case is missing (see sentence (4)). Thus, the morphological kernel of the passive is made up of the passive participle forms. It can be defined and included in the category of voice in a purely morphological way. The situation becomes more complicated if the sentence contains reflexive verbs, caused by the polysemic, multifunctional postfix *-ся*. If a verb is formed, the action is concentrated in the subject itself and the postfix *-ся* produces a verb with a different lexical meaning, i. e. it serves as a means of word derivation (e. g. *подниматься, лечиться, купаться, одеваться*, etc.) and denotes active voice. On the other hand, if the reflexive verb denotes an action directed at the object, the postfix *-ся* is used for the derivation of forms and can be considered to be the marker of the passive voice (*Мир познается человеком в процессе трудовой деятельности*). Consequently, the postfix *-ся* can equally be used to form

both the active and the passive voice: one and the same reflexive verb, independently of its meaning, can even be found in active and passive constructions alike, e. g. (1) *Дома строятся плотниками.* (2) *Хозяева строятся летом.* (3) *Грибы собираются на опушке леса.* (4) *Пионеры собираются в поход.*

Sentences (1) and (3) are passive, whereas (2) and (4) have the active voice.²¹

Examining active and passive constructions one should take the transitivity and intransitivity of verbs into account as well, as it is only transitive verbs that are capable of showing the change in the relation of the subject and the object: *решить-решенный, решен; решать-решаться* (актив - *Задачи решили правильно; пассив - Задача решена правильно; Задачу, решенную правильно, оценили на "отлично"; Эту задачу мы решали давно; Эта задача решалась нами давно.*

Reflexive verbs can be classified as follows:

- a) verbs formed from transitives: *нарядиться, купаться, обниматься, гнутья и т. д.;*
- b) verbs formed from intransitives: *белеться, черниться, хвастаться, грозиться и т. д.;*
- c) verbs formed through prefixation-postfixation: *выспаться, засидеться, размахаться, настрадаться и т. д.;*
- d) verbs not used without -ся: *очнуться, бояться, надеяться, гордиться, смеяться и т. д.*

Reflexive verbs have some groups which denote the action being concentrated in the subject itself. According to Russian grammatical tradition these verbs form the so-called *средне-возвратный залог*: а) *собственно-возвратный* (*обуваться, одеваться*); б) *взаимно-возвратный* (*ругаться, целоваться*); в) *обще-возвратный* (*возвращаться, беспокоиться*); г) *косвенно-возвратный* (*построиться, улечься*); д) *активно-безобъектный* (*бодаться, кусаться*) и др.

Reflexive verbs formed with -ся from transitive verbs denote an action of the subject which is not directed at a direct object but returns to its initiator, so these verbs belong to the active voice. As a passive is formally identifiable for the instrumental case of the agent (among others), it is vitally necessary to find out if an agentive complement (*дополнение*) can be used with the verbs in -ся.²²

Let us consider the following examples: (1) "Сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящичков развозятся по всей земле на почтовых тройках." (А. Чехов) The verbs - *опускаются* (кем-то), *развозятся* (кем-то) represent the passive voice. (2) "Вот солнце коснулось тихой воды у берега, кажется, что вся река подалась туда, где окинулось солнце." (М. Горький). The verbs in italics are active and reflexive (*действительные, возвратные*).

- ¹ **Виноградов, В. В.** Русский язык (Грамматическое учение о слове). М. 1972. 447.
- ² **Даль, В. В.** Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1. Спб.-М. 1880, XXVIII.
- ³ **Ломоносов, М. В.** Российская грамматика. Полное собр. соч., т. 7. М.-Л. 1952, 481-2.
- ⁴ **Буслаев, Ф. И.** Историческая грамматика. М., 1959, 343-4.
- ⁵ **Фортуатов, Ф. Ф.** О залогах русского глагола. *Известия ОРЯС*, т. 6, кн. 4. Спб. 1899,
- ⁶ **Богородицкий, В. А.** Общий курс русской грамматики. М.-Л. 1935, 47-9.
- ⁷ **Шапиро, А. Б.** О залогах в современном русском языке. *Ученые записки Московского гор. пед. института*, т. V, вып. 1, 1941, 22-61.
- ⁸ **Овсяннико-Куликовский, Д. Н.** Синтаксис русского языка. Спб. 1912, 127.
- ⁹ **Исаченко, А. В.** Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. *Морфология* т. 11, Братислава 1960, 354.
- ¹⁰ **Грамматика современного русского литературного языка.** М. 1970, 351.
- ¹¹ **Грамматика русского языка**, т. 1. М. 1952, 412.

- ¹² **Русская грамматика**, т. 1. М. 1980, 613.
- ¹³ **Панфилов, В. З.** Языковые универсалии и типология предложения. *Вопросы языкознания*, 1974, 5:10-1.
- ¹⁴ **Храковский, В. С.** Пассивные конструкции. В. кн.: "Типология пассивных конструкций. Диатезы и залогов" Л. 1974, 13.
- ¹⁵ **Дэже, Л.** Рецензия на книгу "Типология пассивных конструкций. Диатезы и залогов." *Вопросы языкознания* 7 ')=7 +6'+/8
- ¹⁶ **Храковский, В. С.** ук. соч., 5-45.
- ¹⁷ **Füredi, M.** Alanykutatás és passzivum-típológia (Subject Investigation and the Typology of the Passive). *Általános Nyelvészeti Tanulmányok XII*, Budapest 1978. 107-120.
- ¹⁸ **Бондарко, А. В.** К теории поля в грамматике - залог и залоговость. *Вопросы языкознания*, 1972, 3:20-35. **Его же.** Теория морфологических категорий. Л. 1976.
- ¹⁹ **Его же.** Теория морфологических категорий, 223.
- ²⁰ **Панфилов, В. З.**, ук. соч., 10.
- ²¹ **Шалга, А.** Категория залога в русском языке. *Slavica XX*, Debrecen 1984, 8.
- ²² **Шалга, А.** Актив и пассив в русском языке. *Studia Russica VII*, Budapest 1984, 18.

Морфологические алгоритмы и ЭВМ (Учим машину языку)

А. БАРДОШ

1.1. В наши дни, когда вычислительная техника везде обслуживает человека, когда мы получаем информации у вычислительных машин, когда «машинный перевод» и даже «говорящий автомат» - естественные, общепринятые явления, мы легко можем попасть в такую ситуацию, которой мы хотим общаться с машиной на естественном (бытна нашем родном!) языке. Но машина не знает этого языка, поэтому нужно было бы научить ее языку: словам и грамматике, склонению, спряжению, формообразованию. Например: как образовать краткие формы страдательных причастий прошедшего времени в русском языке? Чтобы машина могла ответить на этот вопрос, надо научить ее - составить программу на эту тему. А что такое программа? «Запись того или иного алгоритма в виде конечной последовательности приказов (команд) программного автомата» (Глушков 1964:250). Хорошо. А что такое алгоритм?

1.2. В широком смысле понятия *алгоритм* - математическая модель всяких точно, общепонятно предписанных процедур. Алгоритм обладает тремя свойствами (Савинков 1969:249):

- *Детерминированность*. Это значит, что метод действия алгоритмом описывается всегда точным и общепонятным способом, не допуская произвола в его толковании. Тем самым одни и те же действия однозначно определяются для любого пользователя.

- Алгоритмы - массовы, т.е. служат не для решения какой-либо одной задачи, а для решения целого класса задач.

- Алгоритмы обладают свойством *результативности*. Это свойство требует, чтобы алгоритмическая процедура, примененная к любой задаче данного типа, через некоторое число шагов (этапов) останавливалась и после остановки был известен искомый результат.

Понятие алгоритма возникло в области математики (знаем об алгоритмах Эвклида в III-ем веке до нашей эры), но как и другие классические термины, стал общим понятием в науке.

Из этого видно, что алгоритм очень гибкое и в то же время строгое понятие. Гибкое, потому что во всех науках можем пользоваться им как методом, а строгое, потому что нужно очень осторожно, четко, точно, общепонятно составлять алгоритм, чтобы он безошибочно решил составленную нами задачу. Алгоритм сохраняет свои основные свойства и в связи с языковыми заданиями. Но при применении алгоритмизации в лингвистике нужно принимать во внимание следующие условия (Котов 1983:66; Мачаварияни 1963:89; Палп 1964:75-76):

1.3.1. Сначала лингвистический, языковой материал следует разграничивать. Лингвистические, языковые алгоритмы могут работать только со стандартными языковыми явлениями. Алгоритмы служат для обработки массовых данных, а нестандарты, исключения - единственные случаи.

1.3.2. Потом следует анализ языкового материала, составление групп, подгрупп с точки зрения данного задания.

1.3.3. В результате этого должны быть выявлены дифференцирующие признаки и логические условия, логические процедуры.

1.3.4. Следующий этап - предварительный, статистический анализ, в результате которого выясняется, работает ли заранее составленная модель .

1.3.5. На основе полученных данных можно построить лингвистический алгоритм. Он представляет собой набор правил (в данном случае морфологического или синтаксического содержания), которые однозначно определяют анализируемые единицы и имеют жестко обусловленную последовательность применения.

1.3.6. В конце процедуры составленный алгоритм применяется в обработке целого языкового материала.

2. Вернемся к нашему исходному примеру: как научить машину образованию кратких форм страдательных причастий прошедшего времени. Наши учебники дают правила и описывают процесс образования. В книге *Морфология русского языка в сопоставлении с венгерским* пишется следующее (Пете: 1988: 133-4):

2.1. Страдательные причастия прошедшего времени

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы прошедшего времени переходных глаголов СВ (от глаголов НСВ редко, они обычно употребляются как прилагательные) при помощи суффиксов -НН-, -ЕНН-, и -Т-.

2.1.1. Суффикс -НН- прибавляется к основе прошедшего времени глаголов, оканчивающихся на -АТЬ/-ЯТЬ, -ОВАТЬ/-ЕВАТЬ. Ударение в этих причастиях передвигается на один слог к началу по сравнению с ударением в инфинитиве. (Если ударение в инфинитиве не в конце слова, то ударение инфинитива и причастия совпадает.)

созда-л	---	созда-нн-ый
нарисова-л	---	нарисова-нн-ый
увиде-л	---	увиде-нн-ый
обиде-л	---	обиже-нн-ый (!)

2.1.2. При помощи суффикса -ЕНН- образуются причастия от глаголов на -ИТЬ, -ТИ, -ЧЬ, -СТЬ (от основы настоящего-простого будущего времени). Ударение совпадает с ударением в 3-ем лице мн. числа. Ср.:

изучить	---	изуч-ат	---	изуч-енн-ый
принести	---	принес-ут	---	принес-ённ-ый
сберечь	---	сберег-ут	---	сбереж-ённ-ый
украсть	---	украд-ут	---	украд-ённ-ый

При образовании страдательных причастий от глаголов на -ИТЬ, -ЧЬ, происходят чередования, аналогичные чередованиям в личных формах простого будущего времени. Например:

Д/ЖД:	освободить	---	освобожденный
Д/Ж:	разбудить	---	разбуженный
Т/Ч:	заметить	---	замеченный
С/Ш:	повысить	---	повышенный
П/ПЛ:	купить	---	купленный
К/Ч:	испечь	---	испеченный

2.1.3. При помощи суффикса -Т- образуются страдательные причастия прошедшего времени от глаголов на -НУТЬ, -ОТЬ, -ЕРЕТЬ, и от многих глаголов, имеющих **односложный** корень на гласный -А, -И, -Я, -Ы, -Е, -У. Например:

<i>завернуть</i>	--->	<i>завернутый</i>
<i>расколоть</i>	--->	<i>расколотый</i>
<i>запереть</i>	--->	<i>запертый</i>
<i>развить</i>	--->	<i>развитый</i>
<i>одеть</i>	--->	<i>одетый</i>
<i>начать</i>	--->	<i>начатый</i>
<i>взять</i>	--->	<i>взятый</i>
<i>открыть</i>	--->	<i>открытый</i>
<i>надуть</i>	--->	<i>надутый</i>

2.2. Рассмотрим, как вышеописанное соответствует требованиям алгоритма, что «понимает» машина из сказанного.

2.2.1. Автор сообщает, от каких глаголов образуется эта форма, но критерии дает на синтаксическом уровне (переходные глаголы). Однако машина пока понимает только карактеры, карактерные цепочки. Она может сравнивать только их, и при машинном образовании мы можем исходить только из печатной формы языка.

2.2.2. Выражение «основа прошедшего времени» машине тоже непонятно. Нужно пересочинить его так: инфинитив (исходное данное) минус 2 карактера с конца будет основой прошедшего времени.

2.2.3. «При помощи суффиксов -НН-, -ЕНН- и -Т-...» (выделено мною-А.Б.) - очень нечеткая формулировка. Даже человек не знает, сколько из этих суффиксов присоединяются к одному глаголу. Связка *и* подсказывает - все. А в самом деле только один суффикс: -НН- или -ЕНН- или -Т-.

При составлении машинного алгоритма такие небрежные формулировки недопустимы.

3. Составление машинного алгоритма.

В алгоритме для машины нужны правила, понятные человеку, иначе сформулировать, точнить, поставить вопросы в формальном виде и изменить порядок вопросов. Можно поставить только такие вопросы, на которые можно ответить одним словом «да» или «нет», потому что в алгоритме везде появляется бинарность.

Чтобы облегчить рассмотрение готового алгоритма, сделали его блок-схему и разделили его на несколько блоков.

3.1. Упомянутую в пункте 2.2.1. проблему «переходных глаголов» мы не могли решить. Поэтому появляющийся на экране первый вопрос: «Переходный глагол?» показывает, что этот вопрос решается пользователем машиной. Исходными данными программы могут быть только те глаголы, от которых образуется эта форма. Иначе машина образует эту форму – по формальным признакам – и от тех глаголов, которые не имеют такой формы.

3.2. Первый блок алгоритма рассматривает проблему односложных глаголов с приставками или без приставок.

Они без приставок состоят из 4 (*лечь, мыть, дуть*), 5 (*греть, брать, гнуть*) или 6 (*клясть*) карактеров. По *Грамматическому словарю русского языка* (Зализняк:1980) существует 37 таких глаголов, и мы перечислили их в памяти машины. Алгоритм сперва рассматривает конечные 4, 5, 6 букв (карактеров) данного глагола. Если это совпадает с одним из памяти, машина берет остальные впереди карактеры: приставка ли это? (Приставки и их вариации тоже перечислены в памяти.) Иначе, например: глагол *разделить* (в конце 4 карактера совпадает с *лечь*) тоже относился бы сюда при образовании. Но приставки *разде* не существует, и машина уже знает, что следует в дальнейшем выяснить правильную форму причастия прошедшего времени от глагола *разделить*.

Если и вторая, и первая части глагола будут найдены в памяти, машина образует краткую форму причастия по 1-ому блоку: отрезет последний карактер *-ь*. Так, формы будут: *лечь-леч*, *бречь-бреч*. *Правильный путь* (особенно для человека) было бы: отрезать «-ть» инфинитива и присоединить суффикс причастия *-т* (*лечь ---> лч- т ---> лчт*). Но формально от суффикса инфинитива *-ть* мы получим суффикс причастия *-т* если отрезем последнюю букву *-ь*. Не нужно делать 2 шагов если достаточно один.

3.3. Следующий (2) блок алгоритма занимается группой глаголов на *-чь*. (Инфинитив оканчивается на *-чь*.) В этих случаях возможно изменение конечного согласного основы:

привлечь ---> привлеку ---> привлечешь
беречь ---> берегу ---> бережешь

Машина, к сожалению, сама не может решить, какое изменение характерно для данного глагола. Здесь программа

просит помощи у человека-пользователя.

Если бы машин было нужно 2-ое лицо единственного числа, она сразу получила бы нужное чередование:

беречь ----> *берегу* ----> *бережешь* ----> *бережен*
привлечь ----> *привлеку* ----> *привлечешь* ----> *привлечен*;

однако для того, чтобы программа была более единообразной с точки зрения пользователя, она спрашивает 1-ое лицо единственного числа, тем более, что в дальнейшем будет еще интерактивность (если машина спрашивает у человека), и там нужна форма 1-ого лица единственного числа. Там 2-ое лицо не подходит, а здесь и 1-ое лицо указывает на решение задачи.

Так, у глаголов с инфинитивом на -чь образование осуществляется через следующие шаги:

-машина рассматривает последние 2 карактера. Если это -чь (*беречь, привлечь*), то она просит 1-ое лицо единственного числа (*берегу, привлеку*);

-если у этих форм предпоследний характер-

-к-, тогда - отрежет последние 2 карактера,

- приклеит -чен,

- выпишет на экране

(*привле + чен - привлечен*);

-г-, тогда - отрежет последние 2 карактера,

- приклеит -жен,

- выпишет на экране (*бере + жен - бережен*).

3.4. Следующий (3) блок алгоритма рассматривает основу слова, (3-й характер с конца) и так разделит ветки образования. Если этот характер:

-о- или

-у-, и 3-4 характеры с конца дают -ну-, то реализуется образование 1-ого блока:

приколоть ----> *приколо* ----> *приколоть* ----> *приколот*

пороть ----> *поро* ----> *пороть* ----> *порот*

покинуть ----> *покину* ----> *покинуть* ----> *покинут*

вынуть ----> *выну* ----> *вынуть* ----> *вынут*

По новой ветке бежит программа, если последний характер основы -е-, в дальнейшем -ере-. Здесь сперва образуется новая основа, потом приклеится суффикс -т:

запереть *запереть* ---> *запере* ---> *запер* ---> *заперт*
стереть *стереть* ---> *стере* ---> *стер* ---> *стерт*

У тех глаголов на *-е-*, которые оканчиваются не на *-ере-* и у глаголов на *-а-*, *-я-* краткая форма причастия образуется с помощью суффикса *-и-*, который приклеится к основе после гласного.

избрать ---> *избра-* ---> *избран*
ковать ---> *кова-* ---> *кован*
предвидеть ---> *предвиде-* ---> *предвиден*
почуять ---> *почуя-* ---> *почуян*

3.5. Если до этого пункта не получена правильная форма причастия, тогда машина уже не может одна решить проблему, просит помощи у пользователя.

Мы не могли сформулировать проблему изменения последнего согласного основы так, чтобы машина сама могла выяснить чередование. Чтобы получить нужную ей информацию, она просит 1-ое лицо единственного числа. От этой формы образует новую основу и составит краткую форму страдательного причастия прошедшего времени с помощью суффикса *-ен-*.

встретить ---> *встречу* ---> *встречен*
привести ---> *приведу* ---> *приведен*
приобрести ---> *приобрету* ---> *приобретен*
изучить ---> *изучу* ---> *изучен*
графить ---> *графлю* ---> *графлен*

3.6. При предварительном контроле выяснилось, что среди глаголов на *-и-* есть группа глаголов, у которых эта форма образуется не от «основы» 1-ого лица единственного числа. (смотри 4 блок). Это некоторые – но не все – глаголы на *-дить-*. Мы не нашли формального критерия для решения этой проблемы. Единственное данное: несовершенный вид у этих глаголов оканчивается на *-ждать*.

Здесь программа просит глагол несовершенного вида. Если это оканчивается на *-ждать* (последние 5 карактеров), она отрежет последние 3 карактера и приклеит суффикс *-ен-*:

убедить ---> *убеждать* ---> *убеждать* ---> *убежден*

А если последние 5 карактеров не на -ждать, программа продолжает работу по 5-ому блоку:

нагадить ---> глагол несовершенного вида? --->гадить,
1-ое лицо единственного числа? ---> нагажу --->
нагажен.

Таким образом мы выучили машину образованию краткой формы страдательного причастия прошедшего времени. Хотя она не может решить все задачи, но с «небольшой помощью» человека работает хорошо, как талантливый ученик с помощью учителя. И машина со своими хардвером и софтверами еще школьного возраста. Посмотрим, будет ли «человеком», когда вырастет?

Литература

Глушков, В.М. 1964.

Глушков, В.М. Введение в кибернетику. Киев: АН УССР.

Зализняк, А. А. 1980.

Зализняк, А. А. Грамматический словарь русского языка. Москва: Русский язык.

Котов, Р. Г. - Курбаков, К. И. 1983.

Котов, Р. Г. - Курбаков, К. И. Лингвистические вопросы алгоритмической обработки сообщений. Наука. Москва.

Мачаварияни, М. В. 1963.

Мачаварияни, М. В. О взаимоотношении математики и лингвистики. *Вопросы языкознания* 3:85-91.

Папп

Papp, F. 1964.

Papp, F. Nyelvi rendszer, közlési folyamat és ezek néhány matematikai modellje. (Языковая система, коммуникативный процесс и их некоторые математические модели) *Általános nyelvészeti tanulmányok* II. 75-88.

Пете, И. 1988.

Пете, И. Морфология русского языка в сопоставлении с венгерским. Танкёньвкиадо, Будапешт.

Савинков, В. М. 1969.

Савинков, В. М. Программирование для ЭВМ «Минск» 22. Статистика . Москва..

К анализу одной бинарной модели в системе русской народной культуры

Н. СТАНГЕ-ЖИРОВОВА

Русская народная культура организована по принципу бинарных оппозиций, как показывается в работах В. В. Иванова, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского и др. Наиболее распространенные из этих противопоставлений послужили уже объектом анализа и интерпретации, речь идет о таких парах как «сакральный-мирской», «свой-чужой», «мужской-женский», «правый-левый», «небо-земля», «день-ночь» и т. п.¹

Цель настоящей статьи – показать важность бинарной модели, являющейся необходимым элементом восточнославянского календарного цикла, которой еще не уделялось внимания в специализированной литературе и предложить ее анализ.

Начнем с того, что количество исследований, посвященных праздникам в русской народной традиции, очень значительно, между тем в них не анализируется оппозиция между праздничным периодом и противопоставленным ему моментом, который мы назовем анти-праздником. В самом деле, если мы внимательно рассмотрим этнографические данные, то мы отметим, что праздник не может быть в полном смысле слова праздником, если он не подготовлен особым периодом, законы и правила которого контрастны праздничному².

В работах, посвященных анализу праздничной символики, праздник характеризуется следующими чертами:

1. Возврат к протовремени,³ к первоначальному хаосу, послужившему для создания мира³. Это необходимо для обновления общества, для спасения его от развала и гибели, к которым может привести отсутствие свежих, животворящих сил⁴.

2. Сакральность, соотнесенность с исключительными для общества ценностями, что требует участия в обрядах всех членов коллектива (ср. названия праздников: *святки* у русских, *свечаник* у сербов и т. д.).

3. Особенный характер праздничного периода определяет поведение его участников, которое резко противопоставлено обычному. Общепринятая иерархия разрушается, запреты и правила отменяются и все общество выворачивается наизнанку⁵.

4. Космогоническая функция праздника позволяет его участникам вступать в контакты с сверхъестественными силами, предвидеть будущее и определять его (обряды, направленные на обеспечение хорошего урожая, плодовитость скота, благополучие и здоровье членов семьи, разные виды гаданий и т. д.).

5. Важное место в праздничной символике занимает смех, вызвать смеховую реакцию является ролью определенных участников церемоний. Это объясняется мифологической функцией смеха, который ассоциируется с плодородием, рождением, размножением и т. п.⁶

Исключительность праздничного периода, выражающаяся в этих характеристиках, должна быть подготовлена предпраздничными эффектами, которые распространяются на достаточно длительный временной отрезок (часто чуть меньше праздничного). У восточных славян в христианскую эпоху эта роль выполняется постами.

Посмотрим, какими чертами отличаются эти моменты календарного цикла. Наблюдатели, описывающие атмосферу постов, отмечают полную⁷ контрастность анти-праздничного поведения с праздничным. То, что поощряется во время последнего, будет запрещено до и после него. В Сибири «после широкой и разгульной масленицы наступал великий пост, длившийся 7 недель вплоть до Пасхи... Тускнела жизнь в селах: игры, песни запрещались, даже одежду надевали самых темных скромных тонов. Старики злорадствовали: 'Пост - прижал девкам хвост'⁸».

Этот текст позволяет отметить, что разгулу и распушенности праздника настойчиво противопоставляется тишина и сдержанность во время поста. Вспомним у Пушкина эпитеты «печальный, унылый», который он употребляет по отношению к этому периоду:

Отцы пустынноики и жены непорочны...
 Сложили множество молитв
 Но ни одна из них меня не умиляет,
 Как та, которую священник повторяет
 Во дни печальные Великого поста...
 Владыко дней моих! дух праздности унылой...⁹

Само слово *пост* дало выражение *постное* лицо, т. е. кислое лицо, лицо ханжи.

Из вышесказанного следует, что на оппозицию «праздник – анти-праздник» накладывается ряд таких ассоциативных оппозиций, как «праздность (от этого слово *праздник*)-работа», «разгульный-сдержанный», «радостный-печальный», «яркий-темный». Этот список можно дополнить другими противопоставлениями: «жирная пища (скоромная) – постная пища», «ритуальный шум-тишина», «смех-запрещение шуток и веселья».

Праздничное веселье, разгул, изобилие блюд считались просто необходимыми для нормального функционирования микро- и макрокосмов. В связи с одним из главных русских праздников, масленицей, народная примета утверждала, что не *потешить на широкую масленицу*, влечет за собой негативные последствия: «жить в горькой беде и зинь худож кончить». Поэтому участвовать в веселье надо во что бы то ни было: «Хоть с себя что заложить, а масленицу проводить»¹⁰.

С другой стороны, манифестации покаяния и смирения народа во время поста удивляли всех, не знакомых с русскими привычками. Великий пост начинался с Прощеного воскресения, во время которого даже не знакомые люди просили друг у друга прощения, это делали и дети. Песня, записанная в 1965 г. в Брянской области, красноречиво свидетельствует о том, что прощения просили люди, которые не помнили за собой никаких проступков:

Ты прости, кума,
 Да прости, душа,
 Да на семь недель,
 До Велика дня!
 Мы с тобой, моя кумочка,
 Мы с тобой не ругались,
 И с тобою, моя душечка,
 С тобой не бранились¹¹.

Граница между этими периодами строго соблюдается, это как бы два разных мира со своими правилами поведения, с особой иерархией, а также с четко определенными аксессуарами, т. е. одеждой, посудой, кулинарными блюдами.

Ср. следующее замечание этнографа:

«Всю посуду, в которой готовили скоромные блюда, выносили в ... кладовку. Ее заменяли посудой постной. Те, у кого не было такой замены, всю скоромную посуду выжигали в печках... затем обваривали кипятком... Оставшуюся от масленицы скоромную пищу... зарывали в закромах в пшеницу, где и хранили до Пасхи...»¹²

Мы видим, что переход от праздника к анти-празднику особо подчеркивается, в вышеприведенном примере это смена посуды, в следующем примере акцент ставится на смену одежды, которая служит сигналом переключения с одного типа поведения на другое:

«...Какой-нибудь крестьянин, одетый самым странным образом, на лошади, убранной рогожами, мочалами, лаптями и т. п., запряженной в так же странно убранные сани, и в сопровождении народа с песнями и кривляньями едет в поле или лес и там переодевается в обычное платье – это значит конец масленицы»¹³.

Смешение атрибутов двух противопоставленных организаций может привести к отрицательным последствиям. Писатель Иван Шмелев вспоминает в своей автобиографической книге «Лето Господне», что после святок надо было убирать маски: «Прошли святки, и рядиться в маски теперь грешно, а то может и прирасти, и не отдерешь вовеки»¹⁴.

Следует подчеркнуть, что наибольшее количество анти-праздничных запретов касаются пищи. В словаре В. И. Даля объяснение глагола *постничать* связано именно с этим аспектом «соблюдать, держать пост, не есть вовсе, или не есть скороми, скоромного, а одно постное», в воронежском диалекте *постничать* означает «не готовить горячего, есть в сухомятку, хлеб с водою...» Сам *пост* понимается как «воздержание от скоромной пищи и от суетных наслаждений». Продукты, позволенные в постные периоды строго регламентированы, в том же словаре Даля мы находим подробный список блюд, разрешенных во время поста, это супы, разные виды грибов, фрукты, овощи и т. д. В длинном перечне пирогов, предлагаемых в эти дни, встречаются «пирог и ни с чем», но, к сожалению, словарь не дает рецепта этой начинки¹⁵.

Специальные главы посвящает приготовлению и хранению постных блюд «Домострой»: «А только мужь припасеть в год всякого запаса и постного...» и «Наказъ от государя ключнику какъ едства постная и мясная варит и кормит семья, в мясоедь и в пост». В них особо выделяются исключения, т. е. люди, освобождающиеся от поста (больные, роженицы, заезжие гости),

им предлагается рыба разных сортов¹⁶.

Смена меню воспринимается по-разному. С одной стороны, некоторые крестьяне строго воздерживаются от жирной пищи или от пищи вообще, с другой стороны, фольклорные тексты говорят о тяжести пищевых запретов и выражают отрицательную реакцию на них:

А нас Масленица подманула...
На Великий пост посадила...
Горьку редьчинку подложила...
А тая редьчинка горче хрену...¹⁷

Особенный случай представляют собой народные запреты, касающиеся дня Усекновения главы св. Иоанна Предтечи (29 августа). Этот день называется Иван постный, т. к. церковь предписывает соблюдение строгого поста, что значит в конечном счете разрешение овощей. В действительности, пищевые табу принимают совершенно иной характер. В этот день крестьяне избегают употреблять в пищу круглые овощи: «круглого не едят, шей не варят (качан напоминает голову). На Предтечу не рубят капусты, не срезавают мака, не копают картофеля¹⁸, не рвут яблок, не берут в руки косаря, топора, заступа»¹⁸.

П. Г. Богатырев приводит поверья закарпатских крестьян, свидетельствующие о прямой интерпретации названия праздника и о раскрытии метафоры «усечь голову святому – отрезать головки овощей». Некоторые крестьянки утверждали, что видели сами, как из овощей, срезанных¹⁹, несмотря на запрет, 29 августа, потекла настоящая кровь¹⁹. Необходимо сделать общее замечание о том, что народное соблюдение постов не всегда совпадает с церковными предписаниями. Богатырев констатирует, что в Закарпатье крестьяне постятся в канун Нового года, хотя по церковному календарю это вовсе не требуется, некоторые из них добавляют к каноническим постным дням, среде и пятнице, понедельник²⁰.

Рамки этой работы не позволяют детально исследовать все аспекты данной оппозиции. Они, естественно, богаче и разнообразнее, чем нам это удалось здесь показать. Надеемся, что эта тема послужит для другого, более подробного анализа.

¹ Иванов В. В., Топоров В. Н.. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период). «Наука». Москва, 1965, Иванов В. В., Топоров В. Н.. Исследование в области славянских древностей. Лексические и фразеоло-

гические вопросы реконструкции текстов «Наука», Москва, 1974 (см. главу «О типологии систем двоичных классификационных признаков»), Успенский Б. А.. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). «Изд. Московского университета», 1982. См. также: Лотман Ю. М., Успенский Б. А.. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века). в: Труды по русской и славянской филологии (Ученые записки ТГУ, вып. 414), т. 28, Тарту, 1977.

- ² Известный исследователь René Girard употребляет понятие анти-праздник. Он отмечает следующие черты: "l'austérité extrême, un redoublement de rigueur dans le respect des interdits". Он приводит в пример африканские обычаи: "En Côte d'Or, la période des interdits dure 4 semaines. Ces interdits sont l'envers des coutumes festives. Si, pendant la fête, les participants produisent le plus possible de bruit, pendant l'anti-fête, le vacarme est rigoureusement évité, les querelles si nombreuses autrefois sont punies de fortes amendes" (R. Girard, La violence et le sacré, éd. Grasset, Collection "Pluriel", с. 182-183).
- ³ Праздник воспринимается как «чудо, равное чуду первого творения, когда хаос был побежден и установилась космическая организация. Нужно идеально точное воспроизведение прецедента, того, что имело место 'в начале', 'в первый раз' (в принципе каждый праздник и отсылает к этому началу, напоминает об этом первом разе) - В. Н. Топоров. Праздник. в: Мифы народов мира. Энциклопедия, т. 2, «Советская энциклопедия», Москва, 1982, с. 330.
- ⁴ "...Le premier âge apparaît bien comme la période et l'état de vigueur créatrice d'où est sorti le monde présent, sujet aux vicissitudes de l'usure et menacé par la mort. C'est par conséquent en renaissant, en se retremant dans cette éternité toujours actuelle comme dans une fontaine de Jouvence aux eaux toujours vives qu'il a chance de se rajeunir et de retrouver la plénitude de vie et de robustesse qui lui permettra d'affronter le temps pour un nouveau cycle" (Caillois R., L'homme et le sacré, "Gallimard", 1950, с. 136).

- ⁵ См. об этом **Бахтин М. М.** Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва, 1965.
- ⁶ **В. Я. Пропп**, исследовавший эти проблемы приводит множество примеров, иллюстрирующих функцию смеха. См.: **Пропп В. Я.** Ритуальный смех в фольклоре. По поводу сказки о несмеяне. В: **Фольклор и действительность.** Избранные статьи, Москва, 1976. Об обрядах и театральных действиях, вызывающих смех см. также: **N. Stangé - Zhirova**, L'analyse des principales composantes de la fête paysanne russe Maslenitsa ("Revue des Pays de l'Est" n° 1/1989, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1989), с. 79-101.
- ⁷ В рассказе **Н. С. Лескова** «Чертогон» мы встречаем пример контрастного поведения внутри праздничного периода и до или после него. Автор подчеркивает глубокую разницу, «пропасть» между праздничным и непраздничным поведением: «Двери были закрыты, и о всем мире сказано так: «что ни от них к нам, ни от нас к ним перейти нельзя». Нас разлучала пропасть, - пропасть всего - вина, явств, а главное - пропасть разгула... дикого, неистового, такого, что и передать не умею.» (**Лесков Н. С.**, Собрание сочинений, т. 6, «Художественная литература»,
- ⁸ **Болонев Ф. Ф.** Народный календарь семейских Забайкалья. Вторая половина XIX - начало XX в. «Наука», Новосибирск, 1978, с. 124).
- ⁹ **Пушкин А. С.**, Полное собрание сочинений в десяти томах, изд. Академии Наук СССР, Москва-Ленинград, т. 3, с. 373.
- ¹⁰ **Соколова В. К.** Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. «Наука», Москва, 1979, с. 12.
Иностранцам путешественникам бросались в глаза буйство и праздничный разгул русских. **Георге Адам Шлейссинг** писал в конце 17 века: «во всю масленицу день и ночь продолжают обжорство, пьянство, разврат, игра и убийство... В бытность мою у русских на этой сатанинской неделе было убито более ста человек...» (**Лихачев Д. С., Панченко А. М., Н. В. Поньрко.** Смех в Древней Руси. «Наука», Ленинград, 1984, с. 177).

- ¹¹ **Земцеовский И. И.** . Поэзия крестьянских праздников. «Библиотека поэта», Ленинград, 1970, N 397.
Французский капитан Jacques Margeret, бывший на службе в Москве в начале XVII-го века, был поражен тем фактом, что совершенно не знакомые люди останавливают друг друга на улице, чтобы просить прощения (Margeret Jacques, Un mousquetaire à Moscou. Mémoires sur la première révolution russe 1604-1614. Introduction de A. Benningsen, éd. Maspero -La découverte, Paris, 1983, с. 58.).
- ¹² **Болонев Ф. Ф.** . op. cit., с. 125.
- ¹³ **Соколова,** op. cit. 1979, с. 29.
- ¹⁴ **Шмелев И.** . Лето Господне. Paris, 1948, с. 162.
- ¹⁵ **Даль В. И.** . Толковый словарь живого великорусского языка. т. III, «Русский язык», Москва, 1980, с. 345.
- ¹⁶ Домострой по Коншинскому списку и подобным. К изданию подготовил **А. Орлов.** (Russian Reprint Series ed. by A. V. Soloviev XXXVII, "Europe Printing", The Hague, 1967), с. 43-44, л. 73, 73 об., 74, 74 об.
- ¹⁷ **Земцовский И. И.** . jr. cit., № 380, с. 261-262.
- ¹⁸ **Даль В. И.** . op. cit., с. 345.
- ¹⁹ **Богатырев П. Г.** . Вопросы теории народного искусства. «Искусство», Москва, 1971, с. 246-247.
- ²⁰ Ibid., с. 223.

Дерево в народній уяві русинів-українців східної словащини

Н. ВАРХОЛ

Дерево завжди було овіяне легендами, повір'ями та магією. В деревах, за народною уявою, перебували душі мертвих - вважалися місцем оселення нечистої сили.

В минулому біля священних дерев - дуба, липи, бука - відбувався також обряд зустрічі весни. Залишки даного обряду можна було спостерігати і в нашому столітті. В селі Лівовська Гута Бардіївського округу ще в 30-их роках молодь влаштовувала великодні хороводи в лісі біля найбільшого бука. Вода з дупла цього бука вживалась при замовлянні різних хвороб¹.

Поряд з дубом визначне місце, завдяки своєму медовому та ароматичному цвіту, займала липа. Дереву лип наші предки висаджували навколо церкви. Український вчений, етнограф й фольклорист, Павло Чубинський наводить, що за народним віруванням липа відвертає жіночі прокляття над чоловіками, беручи на себе дані прокляття, тому на липі багато паростків, що не є ніщо інше, ніж жіночі прокляття².

В минулому мерців хоронили під липу. Залишки даного акту збереглись і в народній фразеології: «зберати са пуд липу» - недовго залишилось жити; «нести пуд липу» - ховати. В с. Литова на Бардіївщині ще в першій половині нашого

століття вагітну померлу жінку ховали на цвинтарі виключно тільки під липу.

Липині приписувалось неабияке магічне значення - її гілками прикрашували (дехто ще й донині прикрашує) хати, господарські будівлі, огорожі біля подві'я під час Русаля. Русаля або Зелені свята - це свято буйного цвітіння природи, свято літнього сонцестояння, коли прославляється культ рослинності.

Крім зелених гілок, якими господарі прикрашували свої хати та господарські будівлі, ставили ще свячені зелені галузки (здебільшого ліскові) на свою ниву - як охоронний засіб перед стихійним лихом. На Бардіївщині (с. Біловежа) гілку русальної липини запихали ще й у гній, щоб врожай був багатий. Листки з русальної липини відкладавались. З їхнім відваром лікували зуби та ревматизм (с. Порац). В окремих місцевостях крім липини на Русаля прикрашували вікна ще й кленовими, лісковими та буковими гілками. В с. Остурня Попрадського округу, де не росте липа, її роль виконують гілки модрини, наявність якої в даній області досить велика. В Свиднику запихали у картоплю на полі гілку зеленої вільшини, посвячену на Яна (тобто на свято Івана Купали), «жеби били шумни, таки зелені бандурки, як вільшина».

Вірування, пов'язані з рослинним світом сягають ще язичеських часів. Однак до наших днів збереглася народна уява про окремі види дерев, в основі яких лежать вже християнські нашарування. Значна частина бере свій початок з поширеної біблійної легенди про втечу Пресвятої Діви з малим Ісусом Христом в Єгипет. Коли осика відмовилась надати сховище Богородиці перед дощем, була нею проклята, внаслідок чого дане дерево завжди тремтить:

Осика, осика,
Прокляте дерево,
А будеш ся трясти,
Аж до дня судного.

(Олька)

На Україні осика називали за те проклятою, бо на ній ніби повісився Іуда, через що вона трясеться й тоді, коли вітру нема. Її вважали деревом заклятим, кіл з осики вбивали в могилу упирю, тобто мерцю, який ніби ходив після смерті³.

Навпаки, ліска, під яку Богородиця сховалася, стала кошлатою і набула певної пошани. Про неї в народі говориться:

Пуд лісков - ангел з книжков,
А пуд грабом - чорт із бабов.

(Руський Грабовець)

Під ялицьом - чорт з палицьом,

Під буком - чорт з друком,

А під ліском - Прешьвата Діва з книжком.

(Валеник)

Ліска користалась великою приязню в народі. Вірилось, що ліска хоронить від блискавки, тому в часі бурі люди ховались під нею. Як охоронний засіб від блискавиці вживались також три ліскові листки. У с. Завадка на Спиші їх клали за «лайбичок». Подібно в с. Нижня Полянка окр. Бардіїв ліскову галузку з трьома листочками (зате магичне число три, бо їх троє втікало в Єгипет: Пресвята Діва, святий Йосиф та синочок Ісус Христос) пхали за пояс.

За литманівською уявою перед блискавкою хоронять смереки, не рекомендувалось в часі бурі сідати під ялицю. З тієї ж самої причини в Странянох говориться:

Єдличка - дябличка, а смеречок - чоловічок.

На Україні знову вірилось, що не годиться ховати в часі громовиці під дубом та вербою, бо чорти там мають своє житло і шукають у ньому порятунку під час грози⁴.

Подібна уява в деяких наших селах побутує ще й сьогодні. Наприклад, в Нижній Полянці не рекомендується брати в хату «перунові тріски» (тріски з дерева, в яке влучив «перун»), «же то там нечистій дух біл». Вірять, «же де перун б'є - там дакий нечистий дух є». «Там ся утримує нечистий дух». Зате в інших місцевостях такі тріски вживались для різних ворожільних цілей. Так, наприклад, в Руському Потоці Гуменського округу ними «окурювали» бджоли, щоб були бистрі як перун. В с. Литманова такі тріски палили, причому попіл відкладали для магичної дії. В сусідньому селі Орябині Старолюбовянського округу, коли готували масло, клали в маслоробку «перунову тріску», щоб прискорити процес сколочування масла та щоб збільшилась кількість масла. На Сниншині було прийнято такі тріски класти за поздовжній сволок ("гряду") в хаті, «жеби гром їх не побив» (с. Улич). В Руському Кручові поширеним був погляд, що коли такі тріски «на музиці» покласти циганові музикантові у гуслі або контрабас, то будуть рватися струни.

Гуцули відшукували між деревом, яке розбив грім, «шпатора» (тріска з діркою по суку), з якого робили пацьорку, яку жінки носили на шиї, а чоловіки на ремені, щоб

хтось не урік. Інші тріски, без дірок, перемішували з кістками з вепрячої голови. Ними вони окуривали хворого⁵. Взагалі на Україні Перуновим деревом вважався дуб – священне дерево українського народу. Міфологічно він уособлює міру часу, його плин⁶.

Ряд народних вірувань пов'язані з аномаліями природних явищ. Для господарів вони вважалися поганою прикметою. Такі повір'я були пов'язані передусім із цвітінням дерев. Так, наприклад, у кого зацвіло дерево в місяці серпні – це означало, що дівчина господаря стане покриткою (с. Біловежа); в осені – буде війна (с. Дара); взимку – помре хазяїн (хазяйка) або хтось з рідні (с. Ольшинків).

Наші предки з великою пошаною відносились до дерев, особливо фруктових. Про це свідчать різні заборони вирубування фруктових дерев, порушення яких привело б людині нещастя. Можна тільки жаліти, що дані практики сьогодні не респектуються, хоч в окремих селах серед старшої і найстрашій генерації ця віра зберігається донині.

Вирубування родючих дерев строго заборонялось. Обгрунтовувалось це тим, що така дія принесе людині неплідність або смерть. Особливо заборонялось підрубувати родюче фруктове дерево неодруженій молоді, в якій ще не було власної сім'ї, бо вони, мовляв, будуть бездітними, або діти в ній потім не будуть годуватись. Коли парубок вирубав сливу, то опісля в такій сім'ї ніколи не родились дівчатка. Хто використав родючі дерева на спорудження житла, над ним ніби нависло прокляття – вірилось, що яку кількість фруктових дерев вирубав, стільки малих дітей у нього помре.

На Свидниччині (с. Валеник) існує повір'я, що у людини похворіє рука, якою він зрубав родюче дерево. Якщо хтось ненароком зрубав хвойне дерево (ялицю і т. п.), на якому був «вовк» – такий пелех, що виросте на голузі, то він спух і похворів. Щоб вилікуватись, він мусив вернутись на те місце, де зрубав дерево і звідтам принести тріски, з якими його окуривали і таким способомвилічили.»

Щоб досягти якнайбільшої плодоносності фруктових дерев, використовувались різні магічні прийоми. В с. Нижній Мирошів давали з'їсти плід з дерева, яке перший раз вродило, жінці, в якій вже були діти. Неплідна жінка плоди з такого дерева не сміла їсти, щоб дерево і надалі давало багатий врожай.

Окрему групу творять повір'я про неродючі дерева. Поширеною була уява закопувати під таке дерево подохлу тварину або птицю (теля, собаку, кішку, курку і т. п.), ніби таким чином відновиться родючість.

Із неродючістю фруктових дерев пов'язані й магичні ритуали, виконувані в часі святого вечора. Напередодні святої вечері «газда» брав із собою сокиру і з «газдиньов» йшли разом у сад, «лякаючи» дерево, що його вирубають, коли не буде родити.

Щоб забезпечити високий врожай фруктів, то жінка, замішуючи тісто на святу вечерю, з рукою від тіста обтирала стовбури неродючих дерев.

Дерева були пов'язані також з дівочими ворожіннями. Із святовечерішньої соломи дівчата робили повересла або вінки, які кидали на сливу чи інше дерево у саду. Коли повересло (вінець) на дереві «спер са», то дівчина скоро одружиться. Після вечері дівчина вилізла на фруктове дерево й трясучи ним, примовляла:

- Дай мі боже знати, з ким я буду той ночі спати, - хто їй приснився уві сні, за того вилша заміж.

В часі святого вечора з вербовими прутами ходили хлопці -колядники по коляді. Кожній господині давали один прут. З ним хазяйка прийшла у стайню і сказала:

- Скач бичку на телічку, - і кинула вербовий прут на бичка. (с. Олька).

В даному селі в цей час за допомоги молодника з черешні вішували свою дальшу долю. Молодник з черешні посадили в горшок, як квітку. Коли на Великдень молодник зацвів, то людина, яка її садила, буде жити. В протилежному випадку до рока помре.

Дереву надавалось неабиякого значення і при обряді, пов'язаному з народженням дитини. Коли молода йшла до вінчанки вінчатися, то вийшовши з хати, вона в першу чергу мусила подивитися на буковий ліс, щоб родити самих хлопчиків (Свидник).

В Старинській долині ще донедавна можна було зістрінутись з персоніфікацією деревини. Якщо родились самі дівчатка, а батьки хотіли хлопчика, то жінка випрала «подолок» (спідня спідниця), в якому родила останню донечку і воду виляла «горі дубом» - «дуб потому справить хлопчишя».

Воду з першої купелі новонародженої дитини виливали під солодку яблунь або черешню, «жеби дітина біла солодка» (с. Ряшів). Якщо дитинка народилась слабою, то хлопчика купали у відварі трьох молодників з дев'яти сортів дерев чоловічого роду: граб, дуб, клен, ясен, терен, глід, оріх, бук, акац; для дівчинки вибирали знову дерева жіночого роду: яблуня, груша, черешня, ліска, верба, осика, слива, липа, вільха (с. Олька).

Матерям рекомендувалось перестати плекати (годувати дитя груддю) лише в тому часі, коли є ліс покритий листям. Якщо ліс голий, безлистяний, і вона в цьому часі перестане годувати груддю своє дитя, то все подальше життя дитина буде подертою, непорядною, цундравою (с. Гавай).

Дерево пов'язане і з похоронними звичаями та обрядами. Особливо в часі, коли клали домовину в яму, в гріб, требало учасникам похорону дивитись на ліс, щоб мертвець не снівся ночами, «жеби ся не бояли, жеби їм думки ішли по лісі, а не по мертвих» (с. Гавай).

Подібно, при поверненні з похорону, прийшовши в хату, потрібно було доторкнутись печі і дивитись через вікно на ліс, «жеби мертвець пішов гет од нас лісом» (с. Гавай).

На Снинщині, коли помер багатий «газда» або «газдїня», то на горіше пхали дерево вербу, щоб не висохло за ними «газдувство», «жеби не било чкоди за ними».

Дерево інколи вішувало смерть людини. Коли в саду хазяїна воно висохло, або в часі бурі дерево вивернуло з коренем, це була ознака смерті хазяїна дому.

Так само великий бурелом, вітролом, який знищив у лісі дерева – був передвістям пошесних хвороб, як холери і т. п. (с. Новоселиця).

Загалом досьгодні поширена уява, що хвойні дерева не слід садити під хатніми вікнами, оскільки вони ростуть угору, а потім «газда вдолину піде. Чатина догори а господареві вдолину піде». Коли хвойне дерево переросте хату, приносить це сім'ї нещастя – «газда мусит ити долом, мусит гмерти, бо смerek иде горі а газда мусит ити долу».

Дерева широко використовувались і в любовній магії. В Пудгороді для любовних цілей шукали в лісі «зроснуті дов'єдна» бучок з березою, з яких ножиком зішкрябували кору. Що конкретно з корою робили, інформатори не вміли пояснити, але певно її давали як суміш в їжу або щось інше тій особі, яку хотіли причарувати.

Шкідливим замовлянням ніби можна було навести на нелюбу особу неплідність, а саме посередництвом фруктового дерева. В часі шлюбу, вінчанки, свекруха, яка ненавиділа майбутню невістку, йшла в сад, де заскіпила яблуню, чим спричинила невістці неплідність, а яблуні плодючість. Щоб повернути невістці родючість, потрібно було таку яблуню зрубати, знищити (Свидник).

За законами сімільярної магії в с. Улич, коли хтось хотів комусь помститись, то розмітував в корчмі тріски з ціп, з билня, – «а са хлопи потому били».

Своє визначне місце дерево має і в народній фітотерапії. Прада, це вже самостійна, надзвичайно цікава галузь, яку тут не розводимо.

В основі народної уяви про дерево лежить як магія так і міфологія. В календарній та родинній обрядовості дерево є символом безперервності життя, сили й здоров'я, плодючості, бо дерево з давніх-давен було у великій пошані. Хоч в статті ми згадували мотиви про метаморфози людини в дерево, все ж таки вони побутують у фольклорі русинів-українців Східної Словаччини, передусім в пісенній (прекрасні балади) та прозовій (народні фантастичні казки) формі.

- ¹ З глибини віків. Антологія усної народної творчості українців Східної Словаччини. Склав Микола Мушинка. СПВ ВУЛ, Пряшів, 1967, с. 43.
- ² П. Чубинский. Труді етнографическо-статистической экспедиції въ Западно-русскій край. Томъ первый. С.-Петербургъ 1872, с. 76.
- ³ П. Чубинский. ц. праця, с. 76.
- ⁴ Х. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. Український громадський видавничий фонд, Прага 1928, с. 170.
- ⁵ В. Шухевич. Гуцульщина. П'ята часть. Львів 1908, с. 256.
- ⁶ М. Ткач, Н. Данилевська: Клялися зброєю і Перуном. Ін.: ж. «Українська культура», 1991, № 4, с. 25.

Афоризмы в Галицко-волынской летописи

М. ФОНАЛКА

Средневековые изречения мало знакомы читателю, хотя они являются важной составной частью книжного искусства. Первые сборники нравоучительных изречений у русских - как и у других славян - были переводными. (Конечно, в речевом обиходе существовали и свои древние, хорошо известные слова, но они постепенно исчезали, или изменялись.) Самые ранние сборники содержали авторские изречения и крылатые слова обычно из популярных античных текстов, в том числе и светских. Были подборки изречений авторитетных греческих и латинских авторов, этических норм, философских мыслей, а потом появились самостоятельные сборники с мудрыми словами влиятельных христианских авторов (особенно Василия Великого, Иоанна Златоуста и др.) Эти сборники в Византии были известны уже с VII века. Так как они были несколько раз переписаны, и вследствие этого испорчены, к славянам они попадали уже в некоторой мере в измененном виде. Но смысл изречений в основном сохранился. В средневековой культуре важную роль играл образец, поэтому сборники скоро стали учебным пособием, по которому создавались произведения. Использование подобных эталонов и на Руси было доказательством мудрости, начитанности. Только авторитетнейшим лицам было прилично высказывать свои слова, ученость книжника доказало в первую очередь употребление мудрых изречений, цитат из хорошо известных книг, в том числе из Библии. Но

своеобразие древнерусской письменности обнаруживается в том, что помимо этих канонов книжники нередко обращались и к народной мудрости. Она в большинстве случаев появлялась в афористической форме, которая в древности называлась притчей, и всегда служила дидактическим целям. Таковы были и сам рассказ нравоучительного характера, и сгущенная его разновидность – поговорка. В наши дни происхождение не всех поговорок ясно уже. Можно лишь догадаться об их исконных формах, изучая образы, которые сохранили нам разные источники, в том числе и русские летописи. Интересно проследить процесс складывания поговорок. Текст народных изречений, сказок и т. д. в устной разновидности сжимался, и постепенно становился поговоркой. Долгие речи заменялись символами, процесс мышления ускорялся, не нуждался в высказывании массы подробностей. Книжные сентенции, если была возможность, снова могли стать нравоучительной проповедью, могли возвратиться в литературу. Народный афоризм же не был способен к этому. Судя по примерам можно сказать, что оригинальные древнерусские высказывания не так закончены по форме как античные, но в них иногда наблюдается особый вид юмора, и всегда характеризует их лаконизм речи.

В этой работе рассматриваются афоризмы, которые сохранила для нас Галицко-волынская летопись, свод XIII века, в котором описываются преимущественно политические события юго-западной части Руси с 1200 по 1290 год. Первую часть можно назвать жизнеописанием Даниила Галицкого, которое носит своеобразную форму связного биографического повествования. Автор жизнеописания – который по всей вероятности был светским лицом и свидетелем большинства описанных событий – подробно следит за деятельностью своего князя. Он старается очень точно передать и речи Даниила, свидетельствующие о высоком нравственном уровне его по отношению чести воина, любви к родной земле, и которые убеждают нас в ораторской способности князя. В последующих частях летописи основными героями являются владимиrowолынский князь Василько Романовичи и его сын Владимир; им принадлежат изречения, цитируемые нами.

В «Летописце Даниила Галицкого» особое место занимает описание его отношения к венграм, которые после смерти Романа претендовали на галицкий престол. Венгерские короли неоднократно попробовали военной силой захватить галицкую землю, и эти походы оставили свой след и в летописи.

Хронист часто упоминает некоего «Филу». Филней (Фильный) – венгерский полководец, о котором летописец

настойчиво утверждает, что он был заносчивым, прибавляя к его имени эпитет «прегордый». Он был убит в 1243 г. Эпитет «древле прегордый» восходит к переводу «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. В современном русском переводе сообщение о нем звучит так: «В год 1217. Вышел Филя, когда-то надменный, со многими уграми – надеялся он охватить землю, осушить море. Когда сказал он: »Один камень много горшков разбивает«, то и другое слово произнес он надменно: »Острый меч, борзый конь – много захватим русских.« Бог же этого не потерпел, и в свое время убит был Даниилом Романовичем некогда надменный Филя.»

Образность выражения венгерского полководца заключена в самом слове, многозначном по природе. Слова, приписанные Филнею передаются, как венгерские пословицы, но они сформулированы так, как русские. В них сохранилось особое звучание. Важна интонация, особенный ритм воспроизведения. В интонации выделяются ключевые слова, на которые следует обратить внимание. Высказывания избегают сложных предложений, их характеризует бессоюзие, и нет материально выраженных связей между составными частями. Следует обратить внимание еще на одну особенность этих пословиц. Словесный образ их со временем не стирался, он совершенно понятен и спустя 700 лет.

Другое высказывание подобного рода приписывается Владимиру Пинскому. В 1229 году, после смерти Лестько Даниила и Василько «пришли на помощь Кондрату против Владислава Старого. Они оставили в Берестье Владимира Пинского, чтобы сберечь землю от ятвягов. Литовцы, которые в то время воевали против поляков, думали, что берестьяне с ними в мире, пришли к Берестью, чтобы взять город. Но Владимир сказал им: »Хоть вы и в мире, да не со мной« – и вышел на них с берестьянами, и перебил всех.» В этой фразе наблюдается старание к лаконичности, чтобы легче было запомнить и воспроизвести высказывание. Этот же лаконизм характеризует и те слова, которые произнес сотский Микула Даниила, когда он в 1231 году на вече хотел узнать мнение своих дружинников о предстоящем походе. Микула сказал: «Господин, не раздавивши пчел, меду не есть.»

К этой же группе относятся слова Бурундая, который в 1261 году так обратился к русским князьям: «Если вы мои союзники, встретьте меня. А кто меня не встретит, тот мой враг.» Кратко, сжато выражает свое желание на безусловное повиновение Даниила и Василька. Так же сжато и без всяких размышлений обращается и князь Мстислав к своему брату,

Льву, когда узнает, что его сын стал княжить в Берестье. Он говорит: «Если он так поступил по твоему приказанию, то говорю тебе брат мой, не тая: я послал призвать татар и сам готовлюсь к войне, и пусть меня бог рассудит с вами, и не на мне будет та кровь, а на виноватом, на том, кто неправду учинил.» (1289)

В этих изречениях чувствуется народное происхождение, обращение книжника к народным поговоркам. Совсем другой тон характеризует речи Даниила, которые должны были возбудить «ратный дух» в воинах и союзниках его. В 1234 году случилось например, что после длинного и утомительного похода Даниил и его воины были обессилены. Даниил хотел вернуться домой лесной стороной, но Владимир и Мирослав, его союзники уговаривали его пойти на половцев, которые собирались у Звенигорода. Даниил наконец согласился, хотя неохотно. Когда князья увидели половцев, сразу хотели вернуться домой, но Даниил не разрешил им говоря: «Не подобает ли воину, устремившемуся на битву - или завоевать победу, или погибнуть в бою? Я удерживал вас. Теперь же вижу, что трусливую душу имеете. Не говорил ли я вам, что не следует усталым воинам идти против свежих? А теперь что смущаетесь? Выходите против них!»

В 1251 году, борясь против ятвягов, однажды его дружина хотела остановиться на ночь в ложине. Увидев это, князь Даниил воскликнул: «О мужи - воины! Разве вы не знаете, что христианская сила в широком пространстве, а поганым в узком, им привычна битва в лесу.» Воины послушались его, прошли теснину, вышли в чистое поле, так остановились. Ятвяги все-таки напали на них, но потерпели поражение.

В другой раз, в совместном походе с поляками против чехов (в 1254 г.) он так попробовал уговаривать поляков на сражение, когда «страх напал» на них: «Что вы ужасаетесь? Разве вы не знаете, что война не бывает без убитых? Разве вы не знаете, что натолкнулись вы на мужей и воинов, а не на баб? Если муж убит на войне, что за диво? Другие дома умирают без славы, а эти со славой умерли. Укрепите ваши средца и поднимите свое оружие против врагов!»

Хронист считал эти речи настолько поучительными, что цитировал их подробно и увековечил их в летописях. По этим речам можно судить о высокой нравственности, воинской доблести князя. Но действительность иногда заставляла Даниила говорить проще и вульгарнее. В 1231 году напр., когда венгерский король Андрей II пошел к городу Владимиру, Мирослав заключил мир с королем, без согласия князя Даниила

и брата его Василька. По договору Мирослав отдавал Белз и Червен Александру, а венгерский король своего сына, Андрея посадил в Галиче. Мирослав, боясь наказания сказал Даниилу: «Не отдавал я Червена по договору». Но князья порицали его: «Зачем ты заключил мир, имея большое войско?» Военная мораль того времени знала право военной силы, и поступали государственные деятели во имя ее.

Часто встречаются в летописи и библеизмы. Когда русские должны были выйти против венгерского королевича Андрея, Некоторые союзники Даниила не хотели идти в поход. Он убеждал их словами «Писания»: «Кто медлит идти в битву, у того робкая душа» – цитировал он. Подобных этому высказываний в летописи очень много. Приводим в пример некоторые из них: «Как пишут в книгах: »Не в силе битва, но в боге состоит победа«.» (1256 В 1249 году в битве против поляков «пока Василько сражался с ляхами, братья разошлись и не видели друг друга. Ляхи ругались, говоря: »Гони длиннобородных!« Василько же воскликнул: »Ваши слова лживы! Бог нам помощник!«

В меньшем количестве встречаются высказывания античных авторов. Под 1233 год например приведено изречение о неверных союзниках, приписываемое Гомеру: «Оо обман зол, – как пишет Гомер, – сладок он до обличения, а после обличения горек. Того, кто следует ему, злая кончина постигнет. О, зло это злее зла!» Кроме того без имени тоже цитирует античных авторов. Говоря о военных успехах Даниила, которых он достиг в борьбе с ятвягами, летописец так отзывается о нем: «Как писал премудрый хронограф »Добрые дела святятся в веках.«»

Все эти высказывания наверно взяты из сборников, но видно, что некоторые книги были полностью известны хронисту. То, что каким способом происходило извлечение афоризма из его контекста, показывают именно примеры Галицко-волыннской летописи. Не только форма, но и смысл изречения оказывались важными в ходе работы над летописью. Сборники с афоризмами долго сохранялись, и так способствовали консервации высокого стиля. Расхождение в языке между книжными изречениями и пословицами способствовало противопоставлению между церковно-славянским и русским литературными языками.

Анализ летописных изречений показывает с одной стороны, что в древности не говорили а делали, и тексты показывают, как в действии рождались новые изречения. Каждая летопись представляет собой особый источник идей. Для познания истории важны и те события, которые не получили широкую

известность, и те исторические лица, которые не стали известными, хотя их поступки и слова достойны внимания потомков. В летописях и их мысли доходят до нас.

**Reformbestrebungen in der russischen
Regierungspolitik an der Wende des 18.
zum 19. Jahrhundert**

E. BODNÁR

Ins geistige Leben Rußlands hält Europa zwar schon seit dem Zeitraum vor Peter I., doch in vollem Maße erst in dessen Regierungszeit und in der darauffolgenden Periode Einzug.

Der Anschluß an Europa bzw. an den Westen wurde von Peter I. zum offiziellen Regierungsprogramm erhoben. Infolge der durch die Reformen in Gang gesetzten Umwandlungen spaltet sich die Öffentlichkeit hinsichtlich ihrer Gesinnung in Befürworter des Fortschritts und Anhänger des russischen Traditionalismus. In der zweiten Hälfte des 18. Jh.s erscheinen erste Abhandlungen, in denen das gegenseitige Verhältnis des Westens und Rußlands thematisiert wird. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt dabei eine Gegenüberstellung Rußlands mit dem Westen.

Ausgangs des 18. Jh.s zeichnen sich infolge der Verbreitung der Aufklärung, der französischen Revolution, der weiteren Veränderungen in der Entwicklung sowie der Reformen der Katharina II. im Verhältnis zum Westen über die Gegenüberstellung hinaus auch Alternativen der russischen Entwicklung ab. Für Rußland gibt der Westen eine neue Entwicklungsrichtung an.

Die Frage nach Art und Weise der russischen Entwicklung

gewinnt so seit Ende des 18. Jh.s gleichermaßen für die russische Regierungspolitik und für die gebildete adelige Intelligenz an Bedeutung. Der Adel schließt sich immer intensiver dem gesellschaftlichen Leben an, was bis zu einem gewissen Grade die Tendenz zur Verbürgerlichung widerspiegelt. A. Radiščev, N. Novikov sowie die Gebrüder Voroncov sind um gesellschaftliche Umwälzungen bemüht.¹

Das zu Beginn des 19. Jh.s territorial weitausgedehnte und zu einer europäischen Großmacht gewordene Russische Imperium schreitet nach Umwandlung.² Zur Debatte stehen dabei zwei große Probleme: die Einschränkung des Absolutismus und die Beseitigung der Fronherrschaft. Es gilt als Besonderheit der Entwicklung in Rußland, daß diese Aufgabe der Herrscher selbst "von oben" zu erledigen hat. Die Grundvoraussetzungen für eine bürgerliche Entwicklung sind nämlich nicht vorhanden: Historisch hat sich keine starke Bürgerschicht herausgebildet, die in der Wirtschaft den kapitalistischen Entwicklungsweg forciert und in der Politik gewissermaßen eine einschränkende Wirkung auf den Absolutismus ausgeübt hätte.

Im März 1801 besteigt in der Person Alexanders des I. der letzte russische Repräsentant des aufgeklärten Absolutismus den Thron. Gleich am Anfang seiner Herrschaft beginnt er im Einklang mit dem Zeitgeist mit einer Modernisierung des Imperiums und mit der Durchführung eines großangelegten Reformprogramms³, um mit dem Westen Schritt halten zu können.

Die Neigung zu Reformen lag Alexander I. sozusagen "im Blut". Sein Großvater, Peter III., hatte die Absicht gehabt, 1762 während seiner kurzen Regierungszeit von nur 6 Monaten das Reich durch einen "gewaltigen Sprung" vorwärtszubringen. Manche seiner Maßnahmen progressiven Charakters, wie beispielsweise die Säkularisierung des kirchlichen Grundbesitzes, sein Toleranzedikt oder das Manifest der Freiheitsrechte der Adligen, traten durch die Ironie des Schicksals als Reformen der Katharina II. bald darauf in Kraft.⁴ Seine Großmutter Katharina II. betreibt in der ersten Periode ihrer Regierungszeit aktive Reformpolitik. Ihre einschlägigen Vorstellungen faßt sie in ihrer "Anweisung" von 1767 zusammen. Sein Vater, der despotische Paul I., erarbeitet sogar ein eigenartiges politisches Programm, während er auf den Thron wartet. Im Mittelpunkt seiner Arbeit mit dem Titel "Traktat über den Staat überhaupt" (1774) steht zwar eine Reform der Streitkräfte,

doch es wird auch die Hauptaufgabe der Regierung, d.h. die Vervollkommnung der inneren Struktur des Staates, angesprochen. Seine im "Traktat" grob umrissenen Gedanken werden 1788 in seinem neuen politischen Programm, in der "Anweisung", ausführlich dargelegt. Das Programm der Entwicklung Rußlands besteht aus 38 Punkten; seine Grundideen sollen im folgenden zusammengefaßt werden. Die für Rußland geeignete Regierungsform sei Absolutismus. Schaffung und Einführung neuer Gesetze zur Gewährleistung der Ordnung und Stabilität sei unerläßlich, die Existenz des privilegierten Standes sei überflüssig, zur dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung des Staates seien hochentwickelte Industrie und Handel sowie geregelte Finanzen vonnöten.⁵ Sein gut begründetes Program kann er nach seinem Machtantritt teilweise umsetzen, seine Vollendung fällt allerdings erst seinen Söhnen Alexander I. und Nikolaus I. anheim.

Das grundsätzliche Programm zur Umwandlung des russischen Staates bekommt Alexander I. von F. Laharpe fertiggeliefert. Die Vorbereitung der Reformen und deren praktische Realisierung sind jedoch dem liberalen Flügel des russischen Adels als Verdienst anzurechnen. Im Werdegang der Gedanken Alexanders spielten diese beiden Faktoren die entscheidende Rolle. In seiner Jugend nahm auf seine geistige Entwicklung vornehmlich sien schweizer Lehrer Fiedrich Cezar Laharpe Einfluß. Dieser Jurist, Republikaner und ausgezeichnete Kenner der Werke der Enzyklopädisten hält sich 12 Jahre lang (1783-1795) in St. Petersburg auf. Der auf dem Gebiet der gesellschaftlich-politischen Theorien der Aufklärung bewanderte Erzieher dürfte vor Alexander die politische Idee einer auf grundlegenden Gesetzen beruhenden aufgeklärten Monarchie dargelegt haben. Selbst fertigt er für seinen Schützling kurze Beschreibungen zum Wesen der Gesellschaft an. Er legt ihm nahe, daß die ewige Machtgarantie eines Monarchen darin bestehe, die Gesetze folgerichtig einzuhalten, die Macht der etablierten Staatsordnung aufrechtzuerhalten und die Bedürfnisse der Untertanen im Auge zu behalten.⁶

Nach Laharpes Fortgang setzen die einschlägigen Studien von Alexander aus. Zu dieser Zeit schließt er jedoch mit einigen von ihm als "aufgeklärte Geister" bezeichneten jungen Adelligen Freundschaft, die ihn mit interessanten Büchern und Ratschlägen überhäufen. V. Kočubej, A. Czartoryski, P. Stroganov und N. Novosil'cov sind imstande,

Laharpe zum Teil zu ersetzen, mit dem Alexander in ständigem Briefwechsel steht. Seit dem Machtantritt seines Vaters wird seine Beziehung zu den jungen Freunden immer enger. Die Politik Pauls I. Überzeugt ihn immer deutlicher davon, daß er den Thron in Zukunft als Reformers-Zar besteigen muß. Auf diese Mission bereitet er sich bewußt vor. Im November 1797 richtet er zusammen mit Novosil'cov an Laharpe einen Brief, in dem er den durch die Erlässe seines Vaters eingetretenen chaotischen Zustand schildert. Alexander schreibt seinem Erzieher über seine jungen Freunde und über seine Vorhaben, wobei er an seinen ehemaligen Meister appelliert, durch seine Anweisungen in Rußland eine Machtordnung ausbauen zu helfen, mit welcher der Absolutismus zu vermeiden wäre und die seinem Volk eine Freiheit gewähren könnte, die sich aufrechterhalten ließe.

"Dieses Schreiben wird Ihnen Novosil'cov einhändigen, um Sie um Hilfe zu bitten in einer wichtigen Frage, wie sie für Rußland die Sache einer freien Verfassung bedeutet. Die beste Form einer Revolution wäre, diese einzuführen und das Volk unter seinen Vertretern wählen zu lassen. Über diese meine Vorstellung möchte ich mit vernunftbegabten Menschen aufgeklärten Geistes diskutieren, doch solche gibt es zur Zeit insgesamt nur vier: Novosil'cov, Stroganov, der junge Czartoryski und meine Wenigkeit."⁷

Aus dem obigen Zitat geht es auch hervor, von welcher Bedeutung für ihn in dieser Zeit der "*Kreis der jungen Freunde*" war. Bei heimlich veranstalteten Zusammenkünften diskutierte man über den Kampf gegen Despotismus und über die Abschaffung des Leibeigenensystems. 1797 wird auch ein Mittel gegen die Willkürherrschaft Pauls I. gefunden, indem sie mit Unterstützung seitens Alexanders ein Blatt gründen. Die erstmals Ende 1797 erschienene *St. Ptersburger Zeitung* erweist sich zwar nur als kurzlebig (es werden insgesamt fünf Nummern herausgegeben, und 1798 wird ihr Erscheinen eingestellt); dessenungeachtet erfüllt dieses Periodikum eklektischen Inhalts eine wichtige Rolle, leistet es doch schon in der Regierungszeit Pauls I. Aufklärungsarbeit mit dem wichtigen Ziel, "die Geister auf eine künftige faktische Umwandlung vorzubereiten". Redakteure des Blattes sind A. Bestužev und I. Pnin, und zu ihren Mitarbeitern zählen auch bekannte und hervorragende Literaten der Epoche wie beispielsweise I. Martynov, A. Buxarskij, A. Izmajlov, E. Količev, N. Šatrov sowie die Übersetzer P. Janovskij, N. Annenskij und P. Galinkovskij. Hernach werden sie alle

Mitglieder eines fortschrittlich gesinnten literarischen Klubs, der *Freien Gesellschaft der Liebhaber von schöngestiger Literatur, Wissenschaft und Künsten*.⁸

Einen beträchtlichen Teil des Blattes bilden Übersetzungen von Aufsätzen zu wirtschaftlichen und politischen Themen. Bei Stuart, Verri und Holbach werden die übersetzten Werkabschnitte ohne Angaben über Autor und Titel veröffentlicht, Namen wie Montesquieu, Voltaire oder Rousseau hingegen werden unverhohlen angeführt. Die ausgewählten Stücke werden des öfteren auch von Analysen begleitet. P. Verris Abhandlung *Erwägungen über das staatliche Eigentum* wird in vollem Umfang veröffentlicht; Übersetzung und Analyse des Werkes sing I. Martynov zu verdanken. Verri is Repräsentant des fortschrittlichen Denkens des 18. Jh.s, der für freien Handel und Privatgrundbesitz der Bauern eintritt. Durch die *St. Petersburger Zeitung* wird der Leser nicht nur mit den Ideen westlicher Denker und mit der fortschrittlichen Gedankenwelt der Epoche vertraut gemacht; im Blatt kommen auch Vertreter der russischen Aufklärung zu Worte. Zu den Verdiensten der *"Jungen Freunde"* gehört u.a. eine Wiederauflage der in den letzten Regierungsjahren der Katharina II. von der Zensur verbotenen Werke von D. Fonvizin.⁹

1798 bedeutet für Alexander und dessen Umgebung das Jahr, in dem das Reformprogramm erarbeitet werden soll; alle sind an der Vorbereitung der Entwürfe beteiligt. Darunter scheint die Auffassung von A. Bezborodko am vollständigsten zu sein. Bezborodko, der übrigens Onkel von Kočubej ist, nimmt eine Analyse der Lage Rußlands unter Berücksichtigung der theoretischen Prinzipien von Montesquieu vor.

Seines Erachtens ergibt sich aus der Größe und dem multinationalen Charakter des Imperiums die Notwendigkeit, die autokratische Staatsform beizubehalten. Eine noch so geringe Schwächung des Despotismus würde zwangsläufig zu einer Katastrophe führen. Er ist Anhänger einer auf grundlegenden Gesetzen beruhenden Monarchie und der erblichen Thronabfolge; der Herrscher müsse sich verpflichten, bei der Ausübung der Macht die Interessen der Gesellschaft im Auge zu behalten. Nach seiner Auffassung gibt es in Rußland drei Stände: Adel, Bürgertum und Leibeigene. Rechte und Pflichten der ersten beiden würden durch Privilegienurkunden gewährleistet, die Lage der Leibeigenen sei jedoch ungeregt und korrekturbedürftig. Bezborodko spricht sich dafür aus, das Maß der Fronarbeit

unter Beibehaltung der Abhängigkeit von ihrem Feudalherrn zu regeln. So dürfte z. B. *barščina* nicht länger dauern als drei Tage, und über *obrok* würde der Feudalherr und der Leibeigene nach gegenseitiger Vereinbarung entscheiden.

Eine Sonderstellung nimmt darüber hinaus in seinen Aufzeichnungen die Frage einer Reorganisierung des Senats ein. Im Senat sollte ein jeder Stand vertreten sein, doch auf die konkrete Art und Weise, wie dies herbeizuführen wäre, wird nicht eingegangen.

Aus der obigen kurzen Darstellung der Auffassung von Bezborodko erhellt, daß er faktisch für eine Konservierung des bestehenden Feudalsystems plädiert, wobei lediglich die sein Fortbestehen bedrohenden Elemente abgeschwächt bzw. völlig abgeschafft werden sollten. Milderung der Abhängigkeit, Regelung der Feudallast der Leibeigenen, Reorganisierung des obersten Verwaltungsorgans als Hauptvorhaben - das alles erfolgt hier mit der Zielsetzung, die privilegierte Lage der Adeligen aufrechtzuerhalten.¹⁰

Der Thronfolger Alexander arbeitet eine Bezborodkos Vorstellungen übertreffende Konzeption aus. Während Bezborodko ein Programm zur Beschränkung der Feudalrechte vorsieht, hat sich Alexander zum Ziel gesetzt, diese allmählich abzubauen. Darauf lassen mehrere Aufzeichnungen aus dem Zeitraum 1798-1800 schließen.

"Es gibt nichts Erniedrigenderes und Unmenschlicheres als Menschenhandel zu treiben. Man muß eine Anordnung in Kraft setzen, die ihm endgültig ein Ende bereiten wird."¹¹ Bei Alexander wird auch die Frage der Fronherrschaft vom Standpunkt der Moral aus herangegangen. Seine Idee, die Feudalherren würden sich der Leibeigenen aus Nächstenliebe erbarmen, ist nichts anderes als ein unter dem Einfluß des Aufklärungsgeistes zustande gekommener utopischer Traum. Im Angesicht der russischen Wirklichkeit zerrinnen jedoch die Schwärmereien des zwanzigjährigen Thronfolgers. Ab Sommer 1799 sieht er sich gezwungen, die Tätigkeit des Freundeskreises einzustellen.

Eine weitere Änderung tritt am 11. März 1801 mit der Thronbesteigung Alexanders ein. Der junge Zar beruft seinen Lehrer Laharpe sofort nach St. Petersburg, der sich vom August 1801 bis Mai 1802 in Rußland aufhält. Nach den im Manifest vom 12. März 1801 verankerten Anfangsmaßnahmen holt sich Alexander zu seinen weiteren Schritten bei Laharpe einen Rat, der ihm am 16. Oktober 1801 erteilt wird.

Der Plan der Reformen in Rußland wird von Laharpe in

einer gemäßigten Variante entworfen. Es werden dabei die grundlegenden sozialen und politischen Kräfte in Betracht gezogen, sowohl diejenigen, auf die Alexander bauen kann, als auch diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist. Nach Laharpe widersetzen sich den Reformen nahezu der ganze Adelsstand, die gesamte Beamtschaft sowie der Großteil des Kaufmannsstandes. Es würden sich dann erst recht diejenigen widersetzen, die durch "das französische Beispiel" entsetzt seien. In seinen Anweisungen äußert sich Laharpe respektvoll über das russische Volk: "... es hat Willenskraft und Mut, es ist gutmütig und lustig". Vorläufig ermahnt er jedoch Alexander, das Volk auf keine Weise in die Reformen mit einzubeziehen. "Das russische Volk wurde in Knechtschaft gehalten, es würde nicht die notwendige Richtung einschlagen." Es wird also vor der Eventualität eines Aufstandes der unterdrückten Volksmassen gewarnt.

Im Mittelpunkt der von Laharpe angebahnten Reformen steht die Absicht, den dritten Stand zu stärken und ihm eine Rolle in den Umwälzungen zukommen zu lassen. Doch bei den damaligen Klassenverhältnissen in Rußland scheint dies so gut wie unmöglich. Zugleich gibt Laharpe auch zu, es wäre zumindest sonderbar, die Institution der Leibeigenschaft aufrechtzuerhalten, wenn diese in Frankreich und in der Schweiz bereits aufgehoben worden ist. Er beabsichtigt, die Leibeigenschaft zwar nicht unbedingt sofort, doch durch schrittweise Reformen allmählich abzuschaffen.

Der russische Reformers-Zar könne sich letzten Endes ausschließlich auf die gebildete Minderheit des Adels, in erster Linie auf "die jungen Offiziere, auf gewisse Teile des Bürgertums" und auf "einzelne Literaten" stützen. Diese Kraft sei offenbar nicht ausrechend, doch Laharpe hofft auf die traditionell hohe Autorität des Zaren, und gerade aus diesem Grund hält er seinen Schüler davon ab, den Absolutismus durch Schaffung irgendeines Vertretungsorgans einzuschränken. Andererseits rät er Alexander, er solle möglichst viel Energie aufwenden, um Bildung und Wissen unter das Volk zu bringen, damit er so bald wie möglich auf eine gebildete und aufgeklärte Jugend rechnen könne.¹²

Mit der Umsetzung des Programms beginnt der junge Zar mit großem Elan. Sein zu einem "Geheimausschuß" umgestalteter Freundeskreis übernimmt die Mehrzahl der Aufgaben zur Vorbereitung der Reformen. Der Ausschuß entwickelt und beurteilt Planentwürfe auf drei bedeutenden Gebieten: in der Frage der Leibeigenschaft, im

Ausbildungsbereich und in der Sache der Modernisierung der Staatsverwaltung. Diese Aktivitäten werden mit folgenden Ukasen abgeschlossen: 1801: Kaufleute, Bürger und Staatsbauern dürfen Boden kaufen. 1802: Dekret über die Errichtung von Ministerien. 1803: Dekret über die freien Landwirte. 1803: Dekret über die Schaffung eines einheitlichen Bildungssystems. Und darin erschöpft sich auch die erste Reformperiode der Regierungszeit Alexanders I. Schon diese Maßnahmen von liberaler Prägung lösen in den adeligen Kreisen Unmut aus, und die sog. *Senatspartei* widersetzt sich allen Reformvorhaben. Das Interesse Alexanders I. für die inneren Angelegenheiten läßt nach, und er setzt seine ganze Tatkraft auf dem Gebiet der Außenpolitik ein. Der "Geheimausschuß" wird 1803 aufgelöst. Die zweibis dreimal wöchentlich stattfindenden liberalen Aussprachen bleiben aus, und im Ausschuß wird allmählich ein anderer Ton angeschlagen. Es wird zwar nach wie vor über die Regelung der Feudallast der Bauern und über die Notwendigkeit einer Reform des Staatsverwaltungssystems gesprochen, doch unter Beibehaltung der Autokratie und der Fronherrschaft. "*Am herrlichen Anfang der Regierung Alexanders I.*" (Puškin) werden im Wirtschaftsleben, in der Staatsverwaltung und im Schulwesen Reformen angebahnt, doch die Modernisierung Rußlands zeigt sich außerstande, das Gros der Gesellschaft zu umfassen und zu mobilisieren. Die Angst vor Gefährdung der eigenen Interessen und der Konservatismus der Grundbesitzer sowie der Wankelmut des Zaren verleihen in der Folge dem Regierungsstil Alexanders I. einen zwiespältigen Charakter. Die gleichermaßen als erwünscht und riskant empfundenen Reformen in seiner Politik führen zu einer Serie von Ansätzen und darauffolgenden Rückschritten (1803, 1810, 1818). Trotz mehrfacher Versuche mißlingt es, Rußland in eine konstitutionelle Monarchie umzuwandeln.

Die Teilergebnisse der Regierungszeit Alexanders I. dürfen jedoch nicht die Bestrebungen in Vergessenheit geraten lassen, die für diese Zeitperiode recht bezeichnend sind. Vertreter des in den ersten zwanzig Jahren des 18. Jahrhunderts gefestigten russischen Liberalismus erarbeiten Verfassungsentwürfe. Zwei von den bedeutendsten Arbeiten sind M. Speranskij und N. Novosil'cov verdanken.

- ¹ Минаева, Н. *D/ž* Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX в. Саратов 1982, S. 31-72.
- ² Die Oberfläche Rußlands war auf 17,4 Mio. km² gestiegen. Die Bevölkerungszahl betrug laut Angaben der V. Revision (1795) 37,4 Mio. Der auf 726.000 Mann geschätzte Adel bildete 1,94 % der Gesamtbevölkerung, und die 32,6 Mio. Leibeigenen stellten 89,84 % der Gesamtbevölkerung dar. Die auf 1,5 Mio. geschätzte Zahl des Bürgertums und der Kaufleute repräsentierte 4,24 % der Gesamtbevölkerung. Näheres dazu siehe in Предтеченский, А. В.: Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. Moskau-Leningrad 1957, S. 29; Кабузан, В. М., Троицкий, С. М.: Изменения в численности, удельном весе и размещении дворянства в России в 1782-1858. гг. История СССР. 1971, 4, S. 164; Кабузан, В. М.: Изменения в размещении населения России в XVIII - первой половине XIX в. Moskau 1971, S. 103-106; Зайончковский, П. А.: Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. Moskau 1978, S. 66-67.
- ³ **Köves Erzsébet:** I. Sándor cár és reformjai [*"Zar Alexander I. und seine Reformen"*]. Valóság, 1988, 9. S. 52-53.; Эйдельман, Н. Я.: Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII - начало XIX столетия. Moskau 1982, S. 176-340.
- ⁴ **Каменский, А. Б.:** Екатерина II. Вопросы истории, 1989, 3, S. 69-70.
- ⁵ **Сорокин, Ю. А.:** Павел I. Вопросы истории 1989, 11, S. 50-51
- ⁶ **Сухомлинов, М. И.:** Ф. Ц. Лагарп - воспитатель великих князей Александра и Константина. St. Petersburg 1871, S. 160-184.
- ⁷ **Шильдер, Н. К.:** Император Александр I. (Приложение.) St. Petersburg 1897, S.280-281.
- ⁸ **Орлов, В. Н.:** Русские просветители 1790-1800 годов. Moskau 1953, S. 509-510.

- ⁹ **Теплова, В. А.:** Эволюция программы "Санкт-Петербургского журнала". УЗ Горьковского ун-та 1966. Сер. Ист.-филол., вып. 78. Band 2, S. 381-402.
- ¹⁰ **Сафонов, М. М.:** Записка А. А. Безбродко о потребностях империи Российской. Leningrad 1983, S. 180-195.
- ¹¹ **Сафонов, М. М.:** Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Leningrad 1988, S. 62-63.
- ¹² **Natan Ejdelman:** Forradalom? Felülról? ["Revolution? Von oben?"] Budapest 1989, S. 116-118.; Лагарп, Ф. Ц.: Письма. In: Старина и новизна. St. Petersburg 1898, Band 2.
- ¹³ **Семевский, В. И.:** Либеральные планы в правительственных сферах. In: Отечественная война и русское общество. Moskau 1912, Band 2, S. 156-157.

**Восполняемая «недосказанность»
пушкинской прозы на примерах «Пиковой дамы» и
«Египетских ночей»**

В. КОМАРОВ

В 1853 году Л. Н. Толстой отметил – по его более поздним признаниям: поспешно –, что «... проза Пушкина стара... Повести Пушкина голы как-то»¹. Во времена же работы над «Анной Карениной» им были сделаны следующие записки: прозу Пушкина «... надо изучать и изучать каждому писателю... не могу Вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение»². Подобные высказывания, каковых можно найти немало, являены «недосказанностью» пушкинской прозы. Даже в законченных, казалось бы, прозаических произведениях объём рассказанного Пушкиным эквивалентен энергии, необходимой для достижения несущего сюжет локомотива такой скорости, когда его торможение после пересечения точки формального конца уже невозможно. Об этом у Пушкина сказано в «Осени»: «Громада двинулась и рассекает волны. / Плывёт. Куда ж нам плыть?»³ Однако это вовсе не означает, что набранная мощная инерция ничем не управляема. Координаты возможного пути заложены и находимы на разных уровнях текста. Иногда автор даже подчёркивает формальность заключительной точки, оговаривая её. Характерно в этом отношении окончание последней из белкинских повестей – «Барышни-крестьянки»: «Читатель избавит меня от излишней обязанности описывать развязку» (V,

100). А ниже ещё одна «точка» – для всего цикла: «Конец повестям И. П. Белкина».

О «недосказанности» первой завершённой пушкинской прозы свидетельствуют последние предложения практически всех повестей цикла. В «Метели» повествование обрывается перед самым завершением: «Бурмин побледнел... и бросился к её ногам...» (V, 64) Конец «Гробовщика» представляет собой начало нового действия, выведенного за рамки сюжета: «Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей» (V, 72). Напускается туман и в последнем предложении «Станционного смотрителя» белкинским вздохом облегчения «о семи рублях (...) истраченных» (V, 82): инерция сюжета направлена не туда, куда пытается завести нас Белкин. Обобщить вышесказанное можно словами Ю. Селезнёва, отметившего, что сюжет у Пушкина «становится средством и формой художественного исследования. Он стремится не к завершающей развязке-ответу, его основная функция – создание художественной перспективы, открытой в будущее»⁴. Таким образом, открытость, незавершённость, многозначность или – как мы называем – «недосказанность» пушкинской прозы заключают в себе средство и возможность поиска и нахождения, то бишь – «восполнения».

«Недосказанность» у Пушкина проявляется множеством вариантов. Можно говорить даже о некоей системе: при условии её выявления. Если для «Повестей Белкина» характерна засюжетная инерция, заставляющая нас возвращаться к началу текстов и углубляться в их содержимое, то с «Пиковой дамой» дело обстоит иначе⁵. Произведение это не только законченное, но и представляет собой классическую новеллу, приводившую в восхищение самого П. Мэриме. Исследователем В. Гусевым было замечено, что «стилевое, духовное целое» «Пиковой дамы» вырастает и неизменно выражается «во фразе, в первичной детали, в лексике, то есть в исходной стилистике»⁶. Фразы и детали повести сопровождаются или соотносятся, например, числами, становящимися навязчивыми не только для Германна, но вызывающие подозрения и у внимательного читателя.

Числа и их воплощения в повести так и останутся для Германна чем-то, скорее, абсурдным, вплоть до его сумасшествия. О Лизавете Ивановне и Томском в заключении повести досказано формально всё: во втором и третьем (последнем) абзаце, заканчивающимися точками. Первый (германновский) абзац завершается многоточием, то есть открыто: «Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не

отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама!...» (V, 219) И в эту открытость явно напрашивается завершающее содержание, свербящее, очевидно, и мозг Германна, попавшего в иное измерение: тройка, семёрка, туз, т. е.: 3, 7, 11; тройка, семёрка, дама; т. е.: 3, 7, 3.

Начнём с того, что предсказывалось (но не было досказано) Германну и очень близко подходило к осуществлению. Члены цифрового ряда «3 - 7 - 11» выстраиваются в арифметическую прогрессию с соотношением между ними, выражаемом как «+4». Прибавляя к первому и второму звену это число, мы получаем цифровое значение второго и третьего звена: $3 + 4 = 7$ и $7 + 4 = 11$. Сумма чисел арифметической прогрессии: восемь. $(+4) + (+4) = +8$. Получаем число, на которое должен был умножиться капитал Германна.

Поставив в первый вечер на «тройку» все свои 47 тысяч, он получает выигрыш в 94 тысячи, который удваивается «семёркой» во второй вечер: 188 тысяч. Не обдёрнись в третий вечер, наш герой получил бы в итоге на «туза» 376 тысяч. Или - 47000, помноженные на 8, дают произведение: 376.000. Даже в первых трёх цифрах (3, 7, 6) возможного итога только первые две (3 и 7) вписываются в логическую схему, навязываемую и подсказываемую Пушкиным на протяжении буквально всей повести: последняя цифра «6» выпадает, обращая тем самым ещё раз возможное в невозможное. Такова была теория, в которой опять же скрывалась подсказка, овеществлённая на практике: Германн поочерёдно и ежевечерне открывал «тройку», «семёрку» и «даму» (3 - 7 - 3). Соотнесём этот полученный ряд арифметически и получим следующую зависимость: +4 (между 3 и 7) и -4 (между 7 и 3). Суммируя числовые выражения зависимостей, осуществлённых в практике игры, получаем: $(+4) + (-4) = 0$!!! Бережимые пуше зеницы ока сорок семь тысяч были превращены в ноль. Не превратились, а именно были превращены Германном в ноль, потому что не судьба его выбрала, а он её. И это тоже подсказывается сюжетом.

Пробравшись в дом графини, Германн ориентируется в нём по письму Лизаветы: «... две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и (...) в мою комнату» (V, 207). Таковым был предписанный маршрут, а наш герой поступает (выбирает) иначе: «... справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая - в коридор. Германн её открыл увидел узкую, витую лестницу,

которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошёл в тёмный кабинет» (V, 208). У Германна была возможность выбора: между любовью Лизаветы (левая дверь) и тайной трёх карт (правая дверь), между девичьей красотой (левая дверь) и уродливостью старухи (правая дверь). Он только открыл левую дверь, а вошёл – в правую. В этом отношении интересно замечание П. Дебрецени: «Германн, мысли которого совсем запутаны в азартной игре, должен выбрать правую дверь и потому, что выигрышная карта в фараоне падает направо от понтёра»⁷. Правая сторона понтёра для сидящего напротив Германна – левая сторона. Там он открывает «тройку» и «семёрку». Там же был и туз: «Направо легла дама, налево туз» (V, 219). Но Германн открыл карту справа, как вошёл, открыв правую дверь, в кабинет графини, а теперь – пиковой дамы справа от себя... Никогда не входившая в правую, кабинетную, дверь графиня, вышла в образе пиковой дамы на карточном столе с правой стороны от Германна. В случае с дверью «Германн её открыл», но «воротился и вошёл в тёмный кабинет» (V, 208). В случае с картами возврата быть не может: Германн вошёл в темноту безумия. «Недосказанность» вополнилась.

А теперь об иного вида «недосказанности» (незавершённости, многозначности и воистину открытости) – об «Египетских ночах», общепризнанно считаемых (парадокс № 1 относительно незавершённости) одной из вершин искусства композиции у Пушкина.

Повесть состоит из трёх глав, в каждой из которых действие разыгрывается на новом месте, на новой «сценической площадке». В первой главе Чарский принимает импровизатора в своём аристократическом кабинете. Во второй – те же два действующих лица сказываются в «нечистом номере» итальянца. Поэзия здесь выступает уже не в теоретической, а в практической роли восприятия творчества и свободы художника, который может оказаться в каких угодно обстоятельствах. Третья глава расширяет сцену и количество действующих лиц: «толпа» из импровизации второй главы выступает чуть ли не на авансцену. Развитие идёт одновременно по горизонтали и вертикали. Образ импровизатора с каждой главой всё глубже раскрывается перед нами через восприятие Чарского и независимо от него. Чарского мы рассматриваем глазами импровизатора и – наоборот. Да и сам порядок импровизаций не случаен, а чрезвычайно обдуман и обоснован композиционно, что для произведения незавершённого выглядит немного

озадачивающе. По наблюдениям В. Э. Вацура, первая импровизация итальянца позволяет Чарскому узнать в нём родственную душу истинного поэта; вторая – прямо предваряется предупреждением, что нам дано присутствовать при «священной жертве» поэта богу песнопений.

Тему первой – пробной – импровизации для итальянца назначает Чарский (II глава): «поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением» (V, 231). Тема поэта-творца разрабатывалась Пушкиным многократно и в «Египетских ночах» представляет собой некое трансформированное обобщение. Прозаические истоки этой темы восходят к «Отрывку» (октябрь 1830), текстуальную связь которого с характеристикой Чарского в «Египетских ночах» отметил ещё П. А. Плетнёв при первой публикации «Отрывка». Герой «Отрывка» – беден, Чарский – богат. Тем не менее знатность и деньги обеспечивают ему только – и только – внешнюю свободу. Его зависимость от общества более сложна. С одной стороны, он пытается «сгладить с себя несносное прозвище» поэта, с другой – «когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своём кабинете и писал с утра до поздней ночи»; более того, «он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье» (V, 227).

Таким образом, жизнь Чарского раздвоена (вспомним Германна): внешне – светская; «нормальная», внутренне – творческая, наполненная истинным счастьем. Подобное раздвоение варьируется и у итальянца-импровизатора. Как бы то ни было – оба принадлежат искусству, а во всём остальном ведут себя согласно нормам тогдашних общественных нравов. Только вдохновение импровизатора жадно оценивается им ценою входных билетов, а Чарскому при упоминании об этом «неприятно было (...) с высоты поэзии упасть под лавку конторщика». Однако: «он очень хорошо понимал житейскую необходимость...» (V, 233). По справедливому замечанию И. Нусинова, «контраст Чарского и импровизатора – условный, временный, относительный. Постоянно и абсолютно в них – их единство. То, что они прекрасны как поэты, и то, что они оба пленники черни, хотя плен их различен»⁹. Таков и сам Пушкин: личное отношение поэта к этому вопросу можно исчерпать его стихотворением «Разговор книгопродавца с поэтом» или же письмами к жене, написанными осенью 1835 года из Михайловского, во время создания «Египетских ночей».

Примечательно, что написанное в 1833 году стихотворение «Осень» одной из главных своих тем – появление вдохновения – почти буквально повторяется в первой импровизации итальянца, то есть два года спустя. В «Осени» – «И забываю мир...», «Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге...» (II, 312); в «Египетских ночах» – «На стройный мир ты смотришь смутно...», «Когда корабль в недвижной влаге / Его дыханья жадно ждёт» (V, 232). В «Осени» двинувшийся корабль «рассекает волны». За семь лет до этого Серафим рассекает грудь пророку, чтоб «угль, пылающий огнём, / Во грудь отверстую» водвинуть (II, 82). Во второй импровизации, давшей название повести, «рассек («Пророк») и «рассекает («Осень») сменяются «смертной секирой», под которой «глава счастливых отпадает» (V, 238). Семантическая связь налицо, потому что любовь поднимается на высоту поэзии, потому что цена приобретения поэтического ощущения как органа чувства («Пророк»), вдохновения («Осень» и первая импровизация «Египетских ночей») и любви (вторая импровизация) – одинаково высока. И секущая головы Клеопатра становится на один уровень с рассекающим грудь шестикрылым серафимом.

«Вот и договорился до того, что приравнял плотоядную и сладострастную царицу с ангелом», – скажут мне оппоненты. Так ведь не я это сделал, а Пушкин. И заметил это первым Достоевский. Так что пришло время вынуть козырную карту (не пиковую даму) – слова Ф. М. Достоевского: «О, эта жертва всех более сулит наслаждений! Замирая от своего восторга, царица торжественно произносит свою клятву... Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух... и нам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный искунитель...»¹⁰

Мы ещё вернёмся к оценке Достоевским «Египетских ночей» после того, как кратко восстановим процесс разработки Пушкиным образа Клеопатры, длившийся более десяти лет. Тема египетской царицы появлялась у поэта впервые в 1824 году при написании стихотворения «Клеопатра». В той первой редакции царственная гордость Клеопатры отмежевывает её от толпы поклонников, пока нет и намёка о её сладострастии. В редакции стихотворения 1828 года в египетской царице растёт душевное движение: «ясная смелость искателей смиряет её гордость, а неподдельное юношеское чувство третьего из них рождает в ней умиление и грусть»¹¹. И чем дальше, тем более сопоставляется «египетский анекдот» с размышлениями поэта о

нравах современного ему общества. Героиня стихотворения «Портрет» (1828) бросает вызов светским правилам: её прообраз А. Ф. Закревская в VIII главе «Евгения Онегина» названа «Клеопатрою Невы». Много общих черт с ней и у Зинаиды Вольской, героиней отрывка «Гости съезжались на дачу»: «Вольская нравилась ему (Минскому – В. К.) за то, что она осмеливалась явно презирать ему ненавистные условия. Он подстрекал её ободрением и советами, сделался ей наперсником и вскоре стал ей необходим» (V, 399).

Последний этап перед «Египетскими ночами» – незавершённая опять же повесть «Мы проводили вечер на даче», состыковывающаяся с первой и по времени создания: осень 1835 года. История Клеопатры, изложенная здесь и в прозе, и в стихах, накладывается на современную Пушкину жизнь, её законы и обстановку. Редакция стихотворных строк отличается от текста «Клеопатры» 1828 года двумя признаками. Первый был подмечен Б. В. Томашевским и заключается в «обилии историко-бытовых аксессуаров, полностью отсутствующих на первых двух этапах работы»¹². Вторым признаком был сформулирован Н. Н. Петруниной как «дальнейшее сближение психологического облика Клеопатры с душевным складом «онегинского» типа: «Зачем печаль её гнетёт?...»¹³

По сравнению с «Египетскими ночами» стихи повести «Мы проводили вечер на даче...» совпадают в неполных пяти строках. «Могу забыть я неравенство» заменено в «Египетских ночах» более лояльным «могу равенство / Меж нами я восстановить». Вместо «Кто приступит?», звучащего несколько неопределённо – более конкретное «Кто к торгу страстному приступит?» В «Мы проводили вечер на даче...» Клеопатрой продаются ночи, в импровизации итальянца – любовь! (V, 237, и V, 446) Сравнимаемыми строками стихотворный набросок повести «Мы проводили вечер на даче...» заканчивается, в «Египетских ночах» они практически начинают вторую импровизацию. Перед слушателем развивается образ живой, почти осязаемой и понятной Клеопатры. И даже – понятой, например, А. Ахматовой. В статье «Две новые повести Пушкина» она высказывает предположение: «Возможно, что «Мы проводили...» и есть последнее пушкинское слово о Клеопатре. (...) Я не согласна с мнением (...), что это просто обрамление «Клеопатры» (стихи и проза), но головокружительный лаконизм здесь доведён до того, что совершенно завершённую трагедию более ста лет считали не то рамочкой, не то черновичком, не то обрывком чего-то. (...) Повторяю, если бы это было сказано в стихах, никто бы не

усомнился в законченности этого произведения»¹⁴.

Вернёмся к Достоевскому, одним из первых глубоко и верно оценившем «Египетские ночи». Анализ Достоевского-ясновидца начинается с рокового вызова царицы. В пушкинской повести великий романист находит оптимистический философский смысл. По его словам, Пушкин «на мгновение (...) остановил гиену»: глядя на третьего, безмянного отрока, «в ней мгновенно проснулся человек, и царица с умилением взглянула на юношу. Она ещё могла умиляться!»¹⁵ Не прибегая к цитированию повести, мнение Достоевского можно прокомментировать следующим образом: Клеопатра отвечает Флавию и Критону их оружием – бесстрашием и страстью; на чистую любовь третьего из принявших вызов ей нечем было ответить, царица была обезоружена. Более того, Б. В. Томашевский считает, что Клеопатра едва-едва не побеждена любовью юноши.¹⁶

Одновременно Достоевский уловил в повести и кризисное состояние эпохи. В. Я. Кирпотин в работе «У истоков романа-трагедии» пишет, что «Достоевский нашёл в «Египетских ночах» то, что искал, к чему стремился сам, – концентрированное выражение в одной эстетической «точке», в одном «моменте», в одной сюжетной «пробе» кризисного состояния всецелого мира, нашёл энергию и эффект, создаваемые не равнодушием исторического созерцания, а кровной заинтересованностью современника, страстно вовлечённого в поиски выхода из жгучих болей, выхода немедленного и во что бы то ни стало – иначе гибель»¹⁷.

Таким образом, «Египетские ночи» можно назвать незавершённым произведением весьма и весьма относительно. Повесть саккумулировала в себе такой букет потенциальных творческих резервов, который вылился в некую открытую форму, стремящуюся к какому-то принципиально новому художественному замыслу, так и оставшемуся невоплощённым у Пушкина. А своими корнями «Египетские ночи» уходят как минимум в три незавершённых прозаических отрывка. Импровизации итальянца кроме указанных выше стихотворений и их редакций подготовлены и даже включают в себя громадный материал: «Евгения Онегина», «Медного всадника», «Езерского». Объём замысла и воплощённая форма повести явно свидетельствуют о том, что речь должна идти, по словам В. Г. Одинокова, «не о субъективной целостности замысла и последовательных этапах его воплощения, а о соотносённости объективной, о «сопряжённости» идей, мотивов, стилистических приёмов, отражающих концентрирующую мощь пушкинского поэтического

гения, создающего всеобъемлющую, универсальную концепцию жизни»¹⁸.

Совмещая эпохи, Пушкин находит форму включения настоящего в любое историческое время с философской точки зрения и осуществляет это в «Египетских ночах» и отчасти в «Пиковой даме», построенной не только на совмещении двух временных планов, но и связанных с ними двух плоскостей: «высокого» и «низкого». Губительность «дьявольской сущности» денег будет подхвачена и разработана Гоголем и Достоевским. Жертвой Раскольникова, как и Германна, становится отжившая своё старуха. Оба переступают через свои жертвы, движимые идеей «всё позволено». В «Египетских ночах» роль, значение, функции импровизации «те же, что и «Легенды о Великом Инквизиторе» в «Братьях Карамазовых» (...) «Импровизация» и «Легенда» – не вставные фрагменты. Это сердце произведения, от которого тянутся тончайшие кровеносные сосуды ко всем «нервным окончаниям» «Египетских ночей» и «Братьев Карамазовых»¹⁹. В одной из статей делается вывод, что «Египетские ночи», как замысел социально-психологического романа, указали два пути: 1. к психологическому (произведения Достоевского, Тургенева) и 2. к социально-психологическому роману (Л. Толстой и др.)»²⁰.

Следовательно, «недосказанность» прозы Пушкина не что иное, как начало пути к большому русскому роману. Раз и навсегда забросив «Арапа Петра Великого» и «Роман в письмах». Пушкин по крупницам собирает «Египетские ночи», просеивает для «Дубровского» «Историю села Горюхина», и в один, наверное, присест сочиняет «Пиковую даму».

И в заключении хочется подтвердить уместность термина «недосказанность» (и её восполняемость) цитатой из нашумевших «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца (А. Синявского):

«Его (Пушкина. – В. К.) творения напоминают собрание антиков: всё больше торсы да бюсты, этот без головы, та без носа. Но, странное дело, утраты не портят их, и, кажется, придают настоящую законченность образу и смотрятся необходимым штрихом, подсказанным природой предмета. Фрагментарность тут, можно догадываться, вызвана прежде всего пронзительным сознанием целого, не нуждающегося в полном объёме и заключённого в едином куске.»²¹

И оспорить это высказывание, пожалуй, невозможно. Иное дело – продолжить его, расширить и привести в систему. Но это предмет отдельного и серьёзного исследования.

- ¹ Л. Н. Толстой. ПСС, т. 46, М., 1934, сс. 187–188.
- ² Там же, т. 62, М., 1953, с. 22.
- ³ Пушкинские тексты цитируются по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч. в 10 т., М., 1974–1977. В дальнейшем в скобках будут указаны римской цифрой – том, арабской – страницы.
- ⁴ В. Селезнёв. Проза Пушкина и развитие литературы (К поэтике сюжета). В кн.: «В мире Пушкина», М., 1974, сс. 415–416.
- ⁵ Об этом подробнее в моей статье «Размышления об Александре Сергеевиче Пушкина «Пиковой даме». Studia Russica Budapestniensa. 1933. N^o 2.
- ⁶ В. Гусев. Пушкин и некоторые современные проблемы теории стиля. В кн.: «В мире Пушкина». М., 1974, с. 565.
- ⁷ П. Дебрецени. Символика «Пиковой дамы». Studia Slavica. т. XXVII, Budapest, 1981. с. 148.
- ⁸ В. Э. Вацууро. Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.–Л. 1966, с. 216.
- ⁹ И. Нусинов. Пушкин и мировая литература. М., 1941, сс. 346–347.
- ¹⁰ Ф. М. Достоевский. ПСС, т. XIII, Госиздат, 1930, с. 219.
- ¹¹ Н. Н. Петрунина. Проза Пушкина. Л., 1987, с. 290.
- ¹² Б. В. Томашевский. Пушкин. Кн. 2. М., 1961, сс. 60–61.
- ¹³ Н. Н. Петрунина. Указ. сочи., с. 293.
- ¹⁴ А. Ахматова. Сочинения. т. 2. М., 1990, сс. 163–164.
- ¹⁵ Ф. М. Достоевский. Указ. издание. т. XIII, с. 218.
- ¹⁶ Б. В. Томашевский. Текст стихотворения Пушкина «Клеопатра». Учёные записки ЛГУ. Филологическая серия. № 200, вып. 25. 1955, сс. 216–227.

- ¹⁷ Достоевский и русские писатели. М., 1971, с. 64.
- ¹⁸ В. Г. Одиноков. Художественная системность русского классического романа. Новосибирск, 1976, с. 52.
- ¹⁹ Ю. Селезнёв. Указ. статья, сс. 443-444.
- ²⁰ Э. Чирпак-Роздина. «Египетские ночи» А. С. Пушкина. *Studia Slavica*. т. XIX. Budapest, 1973. с. 390.
- ²¹ Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным. «Вопросы литературы», 1990, № 8., с. 104.

Die "reziproke" Textbeziehung zwischen Gogols "Mantel" und Dostojewskis "Arme Leute" (1)

G. HIMA

1. Allgemeine Bemerkungen zur Problematik der Intertextualität, Allusionen, literarischer Parallelismen

Wenn wir unter dem Begriff "Intertextualität" das Phänomen der Bezugnahme eines Textes auf mindestens einen anderen Text verstehen, scheint dieser Begriff uferlos zu sein, da jeder Text in einem gewissen Sinn am universalen Kontext teilnimmt und deshalb kein Text denkbar ist, der nicht intertextuell wäre. Jeder "neue" Text hat mindestens eine aber meistens mehrere Vorlagen, so sollte man überhaupt nicht von einem "neuen" Text reden. Um den Begriff brauchbar zu machen, müssen feste Kriterien eingeführt werden, in deren Vorhandensein ein Text intertextuell beziehend sein kann. In der Fachliteratur sind diese Kriterienvorschläge entweder widersprüchlich oder nicht ausreichend, so versuche ich hier als Arbeitshypothese die folgenden Kriterien aufzustellen: ein Text kann als intertextuell bezeichnet werden: 1. wenn er auf mindestens einen weiteren Text verweist; 2. wenn der Autor sich dieses Verweis vollkommen bewußt ist und 3. wenn dieser Verweis im gegebenen Text eine bestimmte poetische Funktion hat. Von der "Intertextualität" kann nur die Rede sein, wenn der Text alle drei Merkmale

gleichzeitig aufweist. Wobei man auch den Fall bemerken muß, in dem ein zitierter Text selbst auf einen dritten Text verweist und dieser Bezug im "sekundären Prätext" auch markiert ist. In diesem Fall genügt ein markierter Hinweis auf diesen "sekundären Prätext" im gegebenen Text, um gleichzeitig auf den "primären Urtext" /die "primären Urtexte" anzuspielen. Die Markierung kann verschiedene Formen aufweisen: 1. direkter Hinweis (Zitat, Paraphrase, Motto, Erwähnung des Autors oder seines Werkes usw.); 2. Allusion, wo die Anspielung auf ein bestimmtes Werk für einen breiten Leserkreis eindeutig ist; 3. erschlossene Parallelstellen, von denen aufgrund der Parallelität angenommen werden kann, daß die "Vorlage" dem Autor bekannt war (2).

Dostojewskijs erster Roman die "Armen Leute", verfügt über all diese Merkmale der Intertextualität und weist all ihre oben beschriebenen Formen auf.

2. Die auf der Ebene der Figuren hergestellte Textbeziehung

Obwohl die Textbeziehung normalerweise die Sache des Lesers wäre, ist sich in Dostojewskijs "Armen Leuten" Makar Djewuschkin, eine der Hauptfiguren, dieser "intertextuellen" Beziehung vollkommen bewußt. Ohne das ganze Werk in die Analyse einzubeziehen, möchte ich mich hier nur mit zwei prägnanten Stellen befassen. Die Hauptfigur, Makar Djewuschkin, ein kleiner Beamter, ein Kopist von Beruf, liest und auch kommentiert in seinem Brief an Warinka die beiden Vorlagen des Romans, nämlich Puschkins "Postmeister" und Gogols "Mantel". Da die beiden Vorlagen selbst voll mit Allusionen auf auch für die Hauptfigur bekannte Prätexte sind, legt er seine Lektüre auf diese Prätexte hin aus.

In Puschkins Erzählung wird zwar Karamsins "Arme Lisa" nicht direkt erwähnt, "arm" als *epitheton ornans* für den unglücklichen Postmeister kommt aber auf jeder Seite vor und die typisch karamsinistischen Ausdrücke bestätigen gemeinsam mit der offensichtlichen Anspielung auf die sentimentale Tradition den intertextuellen Zusammenhang zwischen beiden Texten. Die biblische Parabel vom "verlorenen Sohn" braucht keine besondere Erklärung für das Vorhandensein des intertextuellen Bezugs, sie ist nämlich explizit in die Geschichte des "Postmeisters" hineingeschrieben. Makar Djewuschkin nimmt den Faden dieser biblischen Geschichte

gerne auf, der Parallelismus zwischen seiner Geschichte und der biblischen ist jedoch eben im Wesentlichsten nicht unterstützt: sein "verirrtes Lämmchen" wird ebensowenig "heimkehren", wie das des Postmeisters. Die Vorahnung des tragischen Endes seiner eigenen Geschichte muß aber trotz der törichten Hoffnung bei Djewuschkin vorhanden gewesen sein, denn er liest diese Erzählung mit Tränen in den Augen. Das Schicksal des Samsson Wyrins hat ihn wegen der verschwiegenen Liebe zu Warinka am persönlichsten angesprochen und seine sentimentale Seele reagiert auf die traurige Geschichte mit der höchsten Entzückung.

Er schreibt in seinem Brief an Warinka, daß er sein "Lebtag noch kein einziges so gutes Buch zu lesen bekommen habe" (er hat das Buch von Warinka zu lesen bekommen) und habe das Gefühl, daß es auch er selber hätte schreiben können: "ganz als stamme es aus dem eigenen Herzen... und es mag auch sein: das Herz ist einfach in Hand genommen und vor allen Menschen umgedreht, das Inwendige nach außen, und dann ausführlich beschrieben... Und dabei ist es doch so einfach... Ich könnte das ja gleichfalls schreiben... Fühle ich doch ganz dasselbe und genau so, wie es in diesem Büchlein steht! Habe ich mich doch auch mitunter in ganz derselben Lage befunden, wie beispielsweise dieser Samsson Wyrin, dieser Arme!" Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Art der Beschreibung schlägt ihn in Bann. Er findet sie absolut richtig und naturgetreu: "das ist so wahr, wie das Leben selbst. Das lebt! Ich habe es selbst erfahren - das lebt... überall rings um mich herum!" (S. 97-98.)

Ganz anders reagiert er auf Gogols Erzählung. "Der Mantel" erschüttert ihn in seiner ganzen Existenz. Er ist empört und tief beleidigt. Wie tief seine Erschütterung ist, zeigt der Anfang seiner Lektüre-Interpretation. Er beginnt sie nämlich mit einer Selbstbestätigung:

"Erlauben Sie, mein Kind: jedem Menschen ist sein Stand vom Höchsten selbst zugeteilt. Dem einen ist es bestimmt, Generalsepauletten zu tragen, dem anderen, als Schreiber sein Leben zuzubringen - jenem, zu befehlen, diesem, widerspruchslos und in Furcht zu gehorchen... Ich bin schon an die dreißig Jahre im Dienst. Ich erfülle meine Pflicht mit Peinlichkeit... Die Vorgesetzten achten mich, und selbst Exzellenz sind mit mir zufrieden... Meine Handschrift ist gefällig... Bei uns kann allerhöchsten Iwan Prokoffjewitsch so gut schreiben, wie ich, das heißt: auch der nur annähernd so gut. Mein Haar ist im Dienst allgemach grau geworden...

Sogar ein Kreuzchen habe ich erhalten..." (S. 100.)

Makar Djewuschkin muß sich äußerst betroffen fühlen. Er ist ebenso ein Kopist, wie Akakij Akakijewitsch, auch er ist auf seine "gefällige" Handschrift stolz, mit der es niemand aufnehmen kann. Er betont, daß er die Weltordnung akzeptiert, mit seiner nicht zu hohen Stellung darin zufrieden ist, und, was er für das Wichtigste hält, auch seine Vorgesetzten mit ihm zufrieden sind. Sie achten ihn, und ihre Achtung untermauert seine aus Unsicherheit und Verletzbarkeit überakzentuierte Selbstachtung. Auf die Selbstbestätigung folgt der Vorwurf, und zwar sowohl an Warinka (die die Erzählung ihm geschickt hat), wie auch an den Schriftsteller (der sie geschrieben hat) adressiert:

"Das müßten Sie ja alles wissen, und auch er hätte es wissen müssen, denn wenn er sich schon einmal an das Beschreiben machte, dann hätte er sich eben vorher nach allen erkundigen sollen! Nein, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet... Nein, gerade von Ihnen nicht, Warinka!" (S. 100.)

Sie hätte es vom Gewissen her, er vom Beruf aus wissen müssen, daß es auch andere Beamte gibt, die mit ihren Stellen zufrieden sind und mit denen auch die Vorgesetzten zufrieden sind (3). Und die Details seines Privatlebens gehen ja einen Schriftsteller gar nichts an! "Wie! so kann man dann nicht mehr ruhig in seinem Winkelchen leben... ganz still für sich... ohne jemanden anzurühren - gottesfürchtig und zurückgezogen, damit auch die anderen einen nicht anrühren, ihre Nasen nicht in deine Hütte stecken und alles durchschnüffeln: wie sieht es denn bei dir aus, hast du zum Beispiel eine gute Weste, hast du auch alles nötige an Leibwäsche, hast du auch Stiefel und wie sind sie besohlt, was ißt du, was trinkst du, was schreibst du ab?" (S. 100-101.) Besonders peinlich findet er die Beschreibung des Elends von Akakij Akakijewitsch, nachdem er angefangen hat, auf den neuen Mantel zu sparen. Wie Akakij Akakijewitsch wegen des Mantels, so verzichtet Makar Djewuschkin wegen Warinka - damit er ihr kleine Geschenke kaufen kann - auf den Tee, so schont auch er seine Stiefel. Der Mantel und Warinka spielen in der Geschichte analoge Rolle, beide sind Gegenstände einer neuen, bis jetzt unbekanntem Leidenschaft, die das ruhige Leben der beiden Kopisten umkippt. Diese Leidenschaft ist die Liebe - im einen Fall zu einem Mantel, im anderen zu einer Frau - und das kostet beiden Geld, worüber sie nicht verfügen. Die Beschreibung der neuen

"Sparmaßnahmen" von Akakij Akakijewitsch trifft Makar Djewuschkin schmerzhaft persönlich:

"Was ist denn dabei, mein Kind, das ich, wo das Pflaster schlecht ist, mitunter auf den Fußspitzen gehe, um die Stiefel zu schonen? Warum muß man gleich von einem anderen geschwätzig schreiben, daß er mitunter in Geldverlegenheit sei und dann keinen Tee trinke?... Schauge ich denn einem jeden in den Mund, um nachzusehen, was der betreffende gerade kaut? Wen habe ich denn schon beleidigt? Nein, mein Kind, weshalb andere beleidigen, die einem nichts Böses getan haben?" (S. 101-102.)

Makar Djewuschkin erschrickt vor dieser ausführlichen Darstellung seines eigenen jämmerlichen Alltagslebens und schämt sich: "wozu so etwas schreiben? Zu was ist das nötig?" Er fühlt sich belauscht und ausgespäht, er hat das Gefühl, daß sein ganzes Leben im "Mantel" "gedruckt, gelesen, belacht, verspottet" ist. Auch hat er bis jetzt versucht, sich zu verstecken, verkriechen, von nun an fürchtet er sich "auch nur seine Nase zu zeigen", weil er "davor zittert, bespöttelt zu werden": "Man kann sich ja nicht einmal auf der Straße zeigen! Hier ist doch nun alles so genau beschrieben, daß man allein schon am Gang erkannt werden muß!" (S. 104.)

Einerseits gibt er zu, daß die Beschreibung so naturgetreu und wahr ist, wie ein Steckbrief, besonders was die Freude über ein neues Kleidungsstück betrifft: "Es ist ja wahr, hat man sich einmal etwas Neues angeschafft, so freut man sich darüber", wie er selbst über seine neue Stiefel damals: "mit welcher Wonne(!)" zieht man sie an! "...das ist wahr, das habe ich schon empfunden" (S. 103.)

Je wahrer aber die Beschreibung ist, desto verzweifelter versucht er sie in seinem Brief an Warinka als Lüge und Verleumdung hinzustellen. Er fürchtet sich, daß er in diesem Werk nicht in der günstigsten Beleuchtung vor Warinka erscheint. Das ist ja eine "Schmähschrift" über ihn selbst, sein Leben wurde "zu einem Pasquill verarbeitet". "... wie haben Sie sich nur entschließen können, mir ein solches Buch zu senden, meine Güte? Das ist doch ein böswilliges, ein vorsätzlich schändliches Buch... Das ist ja einfach nicht wahrheitsgetreu, denn es ist doch ganz ausgeschlossen, daß einen solchen Beamten irgendwo geben könnte!" (S. 105.) Makar Djewuschkin widerspricht sich

selbst. Dieser Widerspruch ist aber nichts anderes als Selbstschutz.

Makar Djewuschkin ist nicht nur wegen der "naturalistischen" Beschreibung des Alltagslebens von Akakij Akakijewitsch enttäuscht, sondern auch wegen des traurigen Endes der Hauptfigur. Wenn der Schriftsteller doch zum Schluß an dieser Geschichte etwas geändert und "dort irgend etwas... gemildert hätte!" Wenn mindestens der Schluß so gestaltet worden wäre, "daß das Böse gestraft wird und die Tugend triumphiert" (S. 104.), wenn beispielsweise der Mantel wiedergefunden und Akakij Akakijewitsch in die Kanzlei aufgenommen worden wären, hätte das Ganze etwas besser ausgeschaut. So ist es aber vollkommen hoffnungslos und trostlos. Ist das Leben wirklich so? Wenn ja, dann gibt es gar keinen Grund, damit zufrieden zu sein. Makar Djewuschkin ist von seinen neuen aufrührerischen Gedanken erschüttert. Je mehr sich sein Leben dem von Akakij Akakijewitsch ähnlich gestaltet, desto stärker werden bei ihm diese neuen Gedanken.

Auf diese Gefahr der Schrift weist das Motto hin: "Nein, ich danke für diese neuen Märchenerzähler! Statt etwas Nützliches, Angenehmes und Erquickliches zu schreiben, schnüffeln sie nur noch in den geheimsten Geheimnissen der Welt herum und zerren alles ans Tageslicht!... Am liebsten täte ich ihnen das Schreiben einfach verbieten! Jawohl! Oder gehört sich denn das: da liest man nun... und unwillkürlich gerät man noch ins Nachdenken, - aber da kommen einem jetzt nur allerhand dumme Fragen in den Kopf! Tatsächlich, schlankweg verbieten sollte man ihnen das Schreiben, und am besten gleich für allemal!" (S. 5.) Der Text stammt vom Fürsten Odojewskij - ein neuer intertextueller Bezug - und unter den "gefährlichen" Schriftstellern wird bei Dostojewskij vor allem der Autor des "Mantels" gemeint. Aber nicht nur er. Gogol selbst verweist auf "verschiedene Schriftsteller", die sich über die armen "ewigen" Titularräte "zur Genüge ausgelassen und an ihnen ihren Witz geschärft haben, die die löbliche Gewohnheit haben, sich an jene heranzumachen, die nicht beißen können" (S. 508.) Diese erwähnten Texte dienen als "Urtexte" zum "Mantel", der selber als Prätext den "Armen Leuten" zugrunde liegt.

3. Die auf der Ebene des Lesers hergestellte Textbeziehung

Der Roman "Arme Leute" ist aber voll nicht nur von intertextuellen Hinweisen und Allusionen, sondern auch von erschlossenen Parallelstellen, was das Schicksal deren Hauptfiguren betrifft. Diese Parallelitäten können schematisch auf folgende Weise dargestellt werden:

Makar Djewuschkin	Warinka
Samsson Wyrin	Dunjascha
Akakij Akakijewitsch	der Mantel

wobei der Mantel dieselbe Funktion erfüllt, wie die beiden Frauen. Der Mantel verhält sich - wie gesagt - wie eine geheime Geliebte, genauso, wie Warinka im Leben von Makar Djewuschkin und wie, mutatis mutandis, Dunjascha im Leben von Samsson Wyrin.

Diese Zusammenhänge können zwar Dostojewskij und seine Figur herstellen, für die Autoren der beiden früheren Erzählungen sind sie aber selbstverständlich nicht vorhanden. Nach der traditionellen, auf der Chronologie basierenden Einflußforschung kann nur der spätere Text auf den früheren Bezug nehmen und infolgedessen kann nur der spätere unter dem "Einfluß" des früheren um eine neue Bedeutungsschicht angereichert werden. Wenn es aber im Prinzip möglich ist, daß der Kontext verändernd in einen Text zu greifen vermag, ist der umgekehrte "Einfluß", nämlich die Anreicherung des früheren Textes um eine neue Bedeutung durch den späteren ebenso vorstellbar. Die rückgängige Veränderung des früheren Textes vom späteren geht im Bewußtsein des Lesers vor, für den beide Texte gleichzeitig vorhanden sind. Nicht nur der spätere, sondern auch der frühere Text kann in der Beziehung mit dem anderen mehr als sich selbst sein. Die Grenzen der beiden Texte öffnen sich zu einander und diese Grenzen bleiben offen solange, bis die Texte in neue Zusammenhänge eingehen können. Und sie können es, solange sie leben. Die Texte leben viel länger als ihre Autoren, daher haben sie ein Recht auf eine eigene Geschichte. Die Geschichte der Texte ist eine ständige Veränderung, verursacht vom neuen Kontext, d. h. von der neuen Lesesituation. Nur für den Leser ist die Voraussetzung der gegenseitigen - oder mit Freys Worten "reziproken" - Textbeziehung, nämlich die Gleichzeitigkeit der Texte, vorhanden.

In den ersten zwei Kapiteln habe ich Beispiele für die Anreicherung des chronologisch späteren Textes durch die früheren genannt, jetzt möchte ich beweisen, was für eine Bedeutungsänderung "Der Mantel" durch die "Armen Leute" erfährt.

Gogols Erzählung würde ohne Dostojewskijs Roman als eine Beamtengeschichte gelesen werden, in der der Verlust eines Gegenstandes den Tod der Hauptfigur verursacht. Im Licht der "Armen Leute" sprengt aber der Text seinen Rahmen und die "Mantelgeschichte" wandelt sich in eine "Liebesgeschichte" um. Dostojewskijs Text erotisiert Gogols Text und macht den Leser auf die ausgesprochen erotischen Momente darin aufmerksam.

Akakij Akakijewitsch lebt bis zum Auftauchen des Mantelgedanken in Ruhe und Zufriedenheit. Genauso wie Makar Djewuschkin bis zum Warinkas Auftauchen. Die Schrift ist für beide nicht nur der Sinn ihres Lebens, sondern ein ästhetisches Vergnügen. Für Akakij Akakijewitsch ist sie sogar mehr: fast Lust. Wenn er schon sein Abendessen verzehrt und seinen Tee getrunken hat, schreibt er noch ein bisschen aus Spaß, bevor er schlafen geht. Und er geht erst schlafen, nachdem er von der Schrift so etwas wie eine sexuelle Befriedigung bekommen hat ("Написавшись всласть, он ложится спать"). Die Arbeit ist für ihn eine solide, legitime Leidenschaft, in der er sich austoben kann. Sie ist ihm nicht nur erlaubt, sondern wird sogar von der Gesellschaft gefördert. Auf der Ebene der Metapher spielt die Schrift für ihn die Rolle einer Ehefrau.

Der Mantel tritt von Anfang an als *Konkurrent* zur Schrift auf. Akakij Akakijewitsch befaßt sich im Gedanken immer mehr mit dem neuen Kleidungsstück, er eilt mit einer Aufregung der ersten Liebe zu den Proben beim Schneider Petrowitsch, wie zu einem geheimen Rendezvous, wobei der Schneider die Rolle der höllischen Hilfe zum Austoben einer illegitimen Leidenschaft spielt: die Wohnung von Petrowitsch ist nur durch eine Hintertreppe zugänglich, sie ist immer in Rauch gehüllt und die ganze Figur des Schneiders ist von der Atmosphäre der schwarzen Magie umschwebt; seine Frau selbst nennt ihn "einäugigen Teufel". Alles gibt das Gefühl, daß Akakij Akakijewitsch durch die teuflische Vermittlung des Schneiders etwas Verbotenes begehrt.

Wie Makar Djewuschkin wegen Warinka, so fängt Akakij Akakijewitsch wegen des Mantels an, ein doppeltes Leben zu führen, das die beiden vor ihrer Umgebung verbergen wollen.

Der Mantel, ebenso wie Warinka, spielt auf der Ebene der Metapher die Rolle der "geheimen Geliebten" neben der "legitimen Ehefrau", die in der Wirklichkeit der Amtsdienst, das heißt, die Schrift ist. Wie Makar Djewuschkin in Warinka, verliebt sich Akakij Akakijewitsch allmählich in seinen Mantel. Der Mantel ist ein Verrat an der Schrift, auf der Ebene der Metapher ein Ehebruch. Akakij Akakijewitsch betrügt die Schrift mit dem Mantel. Der Mantel ist die verbotene, seitens der Gesellschaft nicht tolerierte Leidenschaft.

Akakij Akakijewitsch wird nicht nur ein kostbarer Gegenstand gestohlen, sondern ihm wird durch diesen Diebstahl seine Geliebte entführt, ebenso wie Makar Djewuschkin (und auch Samsson Wyrin). Alle drei werden ihrer geheimen Leidenschaft beraubt, ohne die sie nicht mehr leben können.

Die Welt ist also nicht so eingerichtet, daß der kleine Beamte seine Leidenschaft ausleben und ihr nachgehen kann. Sobald er den engen Kreis seines Berufs verläßt und in sich Ansprüche auf das Leben in der "großen" Welt erweckt, sobald er seine asketische Haltung aufgibt und sich von seinem erotischen Begehren verführen läßt, ist er verloren.

- (1) Vgl. Frey, H.-J. Der unendliche Text, Frankfurt 1990
- (2) Vgl. Adelsbach, E. Bobrowskis Widmungstexte an Dichter und Künstler des 18. Jahrhunderts: Dialogizität und Intertextualität, Röhrig 1990
- (3) Vgl. Kovacs, A. Roman Dostojewskovo, Budapest 1985

Literaturverzeichnis

- Dostojewskij:** Der Doppelgänger. Frühe Romane und Erzählungen. München, 1977 (Die im Text angeführten Zitate sind dieser Ausgabe entnommen)
- Nikolaj Gogol:** Werke. München, Wien, Basel, 1955 (Das im Text angeführte Zitat ist dieser Ausgabe entnommen)

Quellen:

- E. Adelsbach:** Bobrowskis Widmungstexte an Dichter und Künstler des 18. Jahrhunderts: Dialogizität und Intertextualität, Röhrig 1990
- B. Moenighoff:** Intertextualität im scherzhaften Epos des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1991
- Hans-Jost Frey:** Der unendliche Text, Frankfurt 1990
- A. Kovacs:** Roman Dostojewskovo, Budapest 1985
- B. Виноградов:** Сюжет и архитектура романа Достоевского "Бедные люди" в связи с вопросом о поэтике натуральной школы. In: Творческий путь Достоевского, Leningrad 1924.
- B. Шмид:** Проза и поэзия в "Повестях Белкина". Известия АН СССР. Серия литературы и языка, том 48, № 4, 1989, стр. 316-327.

Георги С. Раковски и вестник «Българска дневница»*

Н. ДИМКОВ

Академик Михаил Арнаудов посочва, че «Биографията на Раковски представлява един от най-увлекателните романи, които бихме могли да четем в новата българска литература...»¹ И това е вярно, защото животът на Георги Раковски представлява наистина низ от драматични моменти, сензационни приключения и невероятни случки. Към всичко това като прибавим и присъствието му в обществено-политическата съдба на нацията и участието във формирането и утвърждаването на новата ни книжнина, разбираме, че става дума наистина вече за едно необикновено явление през Възраждането.

Георги С. Раковски не успява да напише своята автобиография, т. е., *житието*, което започва, но и онова дете знаем за него, дава възможност да изградим сложния му и многообразен житейски път, изпълнен с превратности и това го прави още по-привлекателна и романтична личност. Като източник за всичко е "любовта към отъчеството" или както признава: «Никоги не бих се осъдил на такова едно нещо, ако описаните ми дела не биха имали една твърде тясна свързка с отъчеството ми, което съм от нежна йоше младост пламенно любил и комуто целия си живот драговолно съм искал да

* Статията е част от по-голямо изследване.

посветя.»² С тези начални думи от своето кратко житие Раковски разкрива всъщност някои от основните черти на възрожденеца-интелигент, а оттук и на българина въобще. Тази любов към отечеството бе една от основните движещи сили на нашето национално революционно движение и неговата същностна идея през XIX век.

Раковски е роден в Котел (1821 г.) в драматично време, когато избухва гръцкото въстание и замесеният феенерски патриарх Григорий е обесен от турците, а султан Махмуд изпраща в България трима паши-джелати да изземат оръжието от населението, да избесят и изколят по-първите хора от градовете и селата. Към тях се присъединяват и чети от пълчища и скитници, както обикновено става и както обикновено се съпътства турската войска. По бащина линия коренът на Раковски се свързва със селцето Раково, далеч «четири часа» от Котел. Оттук и *Раковала*, *Раковски*. Наричали са го още *Папазоолу* (Попович), тъй като пращядо му е бил свещеник. Майката произхожда пък от видния род на Мамарчевци. Котел е интересно и живописно селище през Възраждането. В средата на миналия век наброява близо 1.000 къщи, а около Освобождението – 3.000. Градът е живописен не само с разположението си, но и с тесните и стръмни улички, с дървените къщи и издадените етажи, със спретнатите дворове, засенчени от лозниците. И Константин Иречек, и Феликс Каниц оставят впечатляващи описания, които и днес вълнуват и ни карат да се вгледаме в гънките на миналото. Цялото това очарование е погълнато от опустошителния пожар през юли 1894 год. Като припомним, че Котел е опожаряван и преди това, ще разберем колко и какво губи от самобитната си романтика и неповторимото си обаяние³.

Основният поминък на градеца в миналото е животновъдството и по-точно овцевъдството. Най-много котленци овчаруват в Добруджа. За тях има интересни и любопитни разкази, които увлекателно се описват и от Захари Стоянов в неговите «Записки по българските въстания». През 1823 год, когато на мястото на разформированите еничерски корпуси (след неуспеха им срещу гръцкото въстание) се въвежда редовна турска войска, рязко се увеличава производството на шаяци и други тъкачни изделия. Както сполучливо бележи В. Сл. Киселков: «Всяка къща се превръщала в работилница за прежда⁴, в тъкачница на аби и шаеци, на чаршафи, постелки и килими». В Котел има от старо време училище, черква; построена е и по-нова (1834 г.). Внасяните пари от овчарите (по пара на овца) в «овчарската кутия», се използват за общи

цели: предимно за черквата и училището. Като учител в продължение на две десетилетия трайни следи оставя в съзнанието и психиката на котленци Софроний – с културата си, с интересите си към книжовното дело, с преписите на Паисиевата «История славеноболгарская», със съставените сборници, с любовта си към просветата. Неговата килия посещават много деца и от околните села, за да се учат на четмо и писмо. По-късно в Котел продължително време е учител и Райно Попович (от 1810 до 1826 г.), един от видните педагози и елинисти на Възраждането. В такава атмосфера и среда преминават детските и юношески години на Георги С. Раковски. Към края на 1837 год. той постъпва в известното гръцко училище в Куручешме – Цариград, където има възможност да се запознае с някои стари езици, с природните науки и философия; сбличава се с дейци от черковната ни национална борба като Иларион Макариополски и Неофит Бозвели. По време на Кримската война Раковски събира чета от 12 души и пристига в Преславския балкан, с цел да се присъедини към руските войски. Русите обаче се оттеглят отвъд Дунав и той е принуден да разпусне дружината си, още повече, че приближавала и зимата. Прибира се в Котел и там, в продължение на четири месеца – края на 1854 и началото на 1855 год. – работи върху поемата «Горски пътник». През пролетта на 1855 год. Раковски е вече във Влашко. В едно близко до Букурещ село се занимава предимно с литературна дейност. Но Кримската война свършва, подписан е Парижкият мирен договор и българските надежди изчезват «като сноведения», според думите му. В началото на месец юни 1856 год. Георги Раковски напуска Румъния и се отправя за Белград с надежда да отпечата някои от книжовните си трудове и да започне издаване на вестник. Както посочва в «Съдържание на житието ми» борбата с поробителите ще мине «през пресата и сабята» – т. е., чрез печата и революцията, а това отговаря на обстановката след Кримската война. Този замисъл и тази идея за издаване на вестник не се осъществява поради характера на политическите отношения между Турция и Сърбия. Раковски разбира това и без да губи време се прехвърля в Нови Сад, тогава в пределите на Австрия. Несъмнено, привлича го сръбската интелигенция, както и периодичните издания, които се издават там. Някои от изследователите допускат дори, че Георги Раковски вече знае за д-р Данило Медакович, за печатницата му, за редактирания от него в. «Сръбски дневник» и литературното му приложение сп. «Седмица»⁵. Тази предварителна информация е възможна, защото още от самото

начало д-р Данило Медакович защитава със своя вестник поробените балкански народи и прокарва идеята за «освобождението на всички южни славяни».

Към края на месец юли или началото на август 1856 год. Раковски е вече в Нови Сад. Това се потвърждава от няколко факта: участието му в изпращането на сръбкията Александра Петрович за управителка на девическото класно училище в Шумен, отпечатването в печатницата на д-р Данило Медакович «Предвестник Горскаго пътника» и обявлението за «Горски пътник» и в. «Надежда». След като през пролетта на 1856 год. Сава Ил. Доброплодни напуска гимназията в Сремски Карловци и се връща за директор на шуменската «полугимназия», по негова идея се прави съобщение в «Сръбски дневник», с което се търси управителка за девическото класно училище в града. В него между другото се казва: «Във връзка с решението на Шуменската община, се обявява конкурс за учителка, умееща в домакинството, която трябва да знае сръбски и немски език, а още по-добре е, ако знае и френски...»⁶ На тази обява се отзовава новосадчанката Александра Петрович (1832–1900 г.), току-що завършила педагогическо училище в родния си град. В своите мемоари по-късно тя пише за срещата си с Раковски, за разпалилото му слово и любовта към поробеното отечество. «Госпожице, – обръща се той към младата Александра – [...] Служете на нашия народ не само в просветното поле, но и в полето за освобождението на мъченическия народ. Когато отидете ще видите как страда. Не се бойте от нищо, живеете и умрете за народа!»⁷

Александра Петрович (по-късно Майзнер по мъж) тръгва за България с параход по Дунав заедно със сестра си София. Заедно с тях тръгва и Георги С. Раковски, който ги придружава до Оршова. В «Съдържание на житието ми» той споменава за това пътуване в точка 68: «Пътешествието ми по Дунава»,⁸ а в писмото си до Иван С. Иванов отбелязва, че освен да придружава Александра, ще разпространява «даром по разни места» и «Предвестник Горскаго пътника»⁹. Раковски стига чак до Галац и през декември отново се завръща в Нови Сад «не толко отруден от път, колкото от тяхши разноски»¹⁰.

По време на унгарската революция (1848–1849 г.) Нови Сад е разрушен почти напълно. Той е обстрелван на 12 юни 1849 год. и от 2812 къщи, здрави остават само 808. Според чешкия книжовник Зигфрид Капер няма здрав покрив и навсякъде може да се видят само «изпотрошени прозорци, съборени зидове и обгорели греди»¹¹. Без да спираме на всички опити за отваряне на печатница в града, ще посочим, че до 1831 год. в

Нови Сад не е издавана сръбска книга на кирилица. Първата печатница е на Павле Янкович, която започва работа през 1836 год., а през 1842 год. е основана и печатницата на Йован Каулиц¹². Тези две печатници имат и книжарници, в които основно се продават техните книги. По същото време книжарница отваря и Петър Стоянович, който още тогава е наречен «първият и единствен до днес истински сръбски книжар». В края на 1847 год. д-р Данило Медакович се връща от Германия, взема пари от Йован Обренович и закупува печатницата на Янкович с намерение да я разшири и осъвремени. Във връзка с това известно време престоява и във Виена, но идва тревожната 1848 год. и Медакович е принуден през май да прехвърли печатницата си в Сремски Карловци на разположение на патриарх Йосиф Раич. Медакович обаче не пренася всичко, и което остава, е унищожено от унгарците¹³. След събитията печатницата отново е върната в Нови Сад и подготвена за работа.

Въпреки тенденциите за германизация на сръбското население, както и виенския режим, диктувана от министъра на полицията Александър Бах, Нови Сад започва да се съвзема още от началото на 50-те години и то без държавна помощ. Създава се един нов, модерен град, с широки улици, с оригинална архитектура и многобройна интелигенция, която излиза от редовете на «сръбската търговска буржоазия» и на занаятчиите от целия регион. Едновременно се развиват и други по-малки и по-големи селища от Войводина. Така Нови Сад става отново център на икономическия и политически живот, на театъра, книжнината и журналистиката. Както пише Ст. Станоевич: "... Тук се създават почти всички видове литература и почти всички клонове от националната наука, тук въобще се работи най-много върху литературата, най-много се пише и най-много печата [...]. Тогава Нови Сад е наречен сръбска Атина и то не са били празни думи..."¹⁴

Първото периодично издание, което излиза в Нови Сад, е алманаха «Бачка вила», но това е времето още преди събитията от 1848-1849 год. След тях фактически печатарският и журналистическият живот в града е възстановен и организиран от д-р Данило Медакович. Най-напред той печата вестника на своя брат Милорад Медакович «Южна пчела» (1851 г.),¹⁵ а от следващата, 1852 год., и литературното приложение на «Южна пчела» – «Књижевни додатак Южне пчеле». Средата на 1852 год. трябва да приемем като начало на интензивния журналистически живот в Нови Сад и конкретно на д-р Данило Медакович. Първият брой на неговия «Сръбски дневник» излиза

на 21 юни 1852 год.,¹⁶ а на 25 юни и първият брой на приложението му – сп. «Седмица» (1852–1858 г.). До идването на Георги С. Раковски в Нови Сад «Србски дневник» печата редица дописки и информации за тежкото положение в България и своеволията на турците. Това ще е една от причините на 26 декември 1852 год. редакторът да бъде предупреден официално от губернатора на Сръбска Войводина и Тамишки Банат фелдмаршал–лейтенант Коронин «задето не само не се ограничавал просто да изказва симпатиите си, но приканва поданиците на една сила (става дума за Турция – б. м., Н. Д.), с която Австрия има приятелски отношения, да грабнат оръжието против нейната власт»¹⁷. В следващото предупреждение от 9 април 1853 год. Коронин посочва, че «Србски дневник» напада редовно Високата порта, държавните и военните турски чиновници, «което трябва да престане»¹⁸. Пробългарската информация се засилва особено през първата половина на 1856 год. В броя си от 19 февруари, в дописка от Свишов, се разказва за разюздаността на турците и то във време, когато империята създава реформи. От няколко години в с. Овча могила стои някой си Джелил ага, бивш капитан от турската армия, който сега е «кръвопиец и страшилище за християните»¹⁹. В друга дописка от Търново се съобщава също за своеволията на турците, за убийствата и хайдутлуките им. «Християните по селата в Турско – пише вестникът – никъде не са сигурни ни за чест, ни за имот, ни за живота си»²⁰. Подложен е на критика и обнародваният от Портата на 15 февруари 1856 год. реформен акт, Хатихумаюнът, който е включен в IX статия на Парижкия мирен договор, подписан през март същата година. Хатихумаюнът поддържа версията за гаранция живота и имота на християнското население, за мястото му в турската войска и нейния офицерски състав, за равноправие между българи и турци. Всичко това е и си остава фикс идея чак до Освобождението. В дописка от Видин категорично се твърди, че и след Хатишерифа²¹ глобите и насилията над българското население се увеличават и «никъде нищо ново» не се вижда²². В друга дописка от Шумен се съобщава пък, че в града е дошъл пратеник на Портата и в съответствие с реформения акт издава заповед, валидна за целия санджак, според която се забранява носенето на оръжие и пътуване без пътен лист от едно място до друго²³.

През този период «Србски дневник» не остава чужд и на книжовния живот у нас. В обстойна информация от Белград се изтъква, че след като сръбското правителство закупува печатница от Петербург (1830 г.), в нея започват да издават

учебници за своите училища и българите. По-нататък се сочи, че ние имаме училища за момчета и девойки, но учителите са малко и това пречи на нормалното обучение. Информацията е интересна и с психологическата характеристика, която се прави на българския книжовник и книжар. Ще цитираме този момент, защото той е твърде показателен и впечатляващ: «Има в град Самоков [...] един търговец, българин, който непрекъснато е тук, в Белград, български книги печата, носи ги в Самоков, а след това по своята България, Македония и другите области в турското царство, в което живеят българи, и ги продава. Той не би се толкова старал, ако от печатането и продаването на книгите имаше печалба (к. м., Н. Д.)...»²⁴ За печатане на български книги в Сърбия²⁵ се съобщава и в октомврийския брой на в. «Србски дневник».

След установяването на Георги Раковски в Нови Сад информацията за България в «Србски дневник» чувствително се увеличават. Ако се проследят внимателно страниците на вестника, ще се види, че публикациите са насочени главно към няколко основни проблема: робството, фанариотското духовенство и чорбаджиите. Несъмнено, всичко става с активното участие на Раковски. Тези дописки са подписани или с неговия инициал Р., или с различни други знаци и сигли. Както пише в едно писмо, всичко, отнасящо се до нашето отечество, се обнародва в «Србски дневник». Вижда се, че още с пристигането си в Нови Сад, Георги Раковски се запознава и сближава с д-р Данило Медакович, разчитайки по-нататък на помощта му за осъществяване на книжовните си и журналистически намерения. Вестникът, който замисля Раковски, е навременен и необходим, особено след злощастния край на Кримската война и тенденциозният Парижки мир. Нужно е да се повдигне самочувствието и революционното настроение на българите, да се отрази истинското положение в поробената родина. Не е случайно и избраното му символично име «Надежда». Нещата обаче не се разрешават толкова бързо, както вероятно очаква Георги Раковски. Той е изправен пред два основни проблема: получаване на разрешение от страна на австрийските власти за печатане на българско периодично издание в страната им и осигуряване на средства. Докато с втория успява някак да се справи благодарение на родолюбиви българи, живеещи предимно във Влашко, то първият проблем му създава много главоболия и неприятности. Според австрийските закони, редакторът трябва да е поданик на страната и да внесе депозит от 2.500 форинта. Раковски нито разполага с такава сума, нито може да замени гръцкия си паспорт с

австрийски. Той се оплаква в писмото си до Теохар Папазооглу, че не намира спомоществатели, за да започне печатането на «Българска дневница»²⁶. В друго писмо – до Цвятко Радославов – пише пък за букурешките българи, които също отказват да дадат средства за новия вестник²⁷. Надеждата остава отново у д-р Данило Медакович. Допуска се също и ходатайство от страна на сръбското правителство пред Медакович. То се обяснява с идването на Г. Раковски и Д. Медакович на 8 и 9 февруари 1857 год. в Белград. Сред останалите пътници са посочени от граничните власти и «Джордже Раковски, гръцки поданик от Н. Сад и д-р Данило Медакович, редактор от Н. Сад»²⁸. Явно е, че посещението е свързано с предстоящото издаване на българския вестник и с уреждането и изясняването на редица въпроси, като средства, спомоществатели, разпространение; събиране на сведения за отношението на правителството към българите и т. н. Княз Александър Караджорджевич и уставобранителите не предпочитат конфликт с Портата, затова емигрантите от България могат да пребивават в Сърбия, да организират комитети, но без да се изявяват открито²⁹. Тъй че е обяснимо и бързото прехвърляне на Раковски от Белград в Нови Сад след пристигането му от Влашко.

В обявлението за «Горски пътник» и в. «Надежда», което носи дата 21 септември 1856 год., Георги Раковски говори за унищожаване на старата ни книжнина от гърците, както и за малкото «учебни книги», които имаме, затова се обръща с молба за спомоществатели на поемата «Горски пътник». «Родолюбиви българи! Ако ме улесните – завършва той – с ваше народно спомоществование, ще отхвърля всякое друго особено мое занимание рода ради и [...] разна общополезна списания ще напечата, но и дневница под именем «Надежда» да се в Нови Сад на български издава всякояче ще се потруда. Здравствуйте»³⁰. Според обявлението спомоществателите трябва да изпращат средствата си до Данило Медакович. След възникналите затруднения и усложнения се стига до идеята новото периодично издание да бъде регистрирано като *преводно копие* на «Србски дневник». Междувременно на 4 април 1857 год. излиза един пробен брой в четири големи страници под заглавие «Дневница». Той започва с кратка уводна бележка, която, както личи от езика, е написана от Георги Раковски. «Ето – посочва се в нея – и друга радостна пролет дойде! Нашествие нейно разяснява и разведрява време; вся поднебесна весело разблажава, а политично небо с' остава облачно, мътно и гаежено, както си е и до сега било. После вьсточний вихр

никак още не може да ся разблажи и разведри.» Уводната бележка е с тенденция да направи кратък политически преглед в балкански и европейски мащаб, което подсказва каква ще бъде по-нататък насочеността на вестника. На първа страница е отпечатана и друга кратка бележка, озаглавена «България». В нея се поставя на дневен ред черковният въпрос. Обобщавайки проблема, Георги Раковски подчертава, че в България е започнало «да ся работи най-много по настоящему, за да ся Българский народ от безчеловечни гръцки архипастири освободи». Според него гръцките архипастири са навредили повече, отколкото «истий турци» и напредването на народа е възможно да стане само когато се освободи «от гръцки владици».

Извеждането на преден план на гръцкото архиерейско робство, може да обясним с дипломатически ход пред официалните австрийски власти, за да бъде разрешено издаването на бъдещия вестник. Иначе Георги Раковски подчинява «Българска дневница» на два основни проблема – политическият и черковният. Те са очертани още в пробния брой и по-конкретно в дописките от Шумен и Пловдив. В дописката от Пловдив, с дата 24 март, се обвиняват «чяст турски големци във Цариграда», които не прилагат царския хатихумаюн. Критикува се и пловдивският митрополит за клеветническото му отношение към българите.

В същия пробен брой е поместено и обширно «Обявление», подписано от д-р Данило Медакович. То има подчертан политически характер и в него се откроява ясно стилът на Раковски. Като се изтъква близостта между българи и сърби и тези два славянски народа се определят «къто два брата родени». Тяхната близост не е само по произход, но и по съдба. Сочи се къде живеят и открито се твърди, че повечето от тях са «под турско господство». Коментира се сродството между техните езици, които могат да се нарекат «Българско-сърбски». Тази идея за общ южнославянски книжовен език Георги Раковски дискутира малко по-късно, през септември 1857 год., в седмичното литературно приложение на «Србски дневник» – сп. «Седмица», в статията «Отговор на питанье за съставления едного общаго югославянскаго книжевнаго языка»³¹. В обявлението се отбелязва още, че българите имат сега-засега само един вестник («Цариградски вестник») и целта е да се създаде нов, какъвто е «Србски дневник». Вижда се, че обявлението играе и програмна роля, защото по-нататък в него се обяснява начинът, по който ще излиза вестникът: като спазва тукашните закони и публикува

онова, което се печата и в «Сръбски дневник». Новините също ще са еднакви. Целта на пробния брой е «за образ» и, ако «ся допада» и се нрави на спомоществателите, ще излиза шом се съберат абонати. От обявлението-програма става ясно, че новото периодично издание трябва да се списва по образец на сръбските вестници и преди всичко на «Сръбски дневник». При нужда ще има и «додатак» (приложение), а при необходимия брой абонати и седмично издание за забава и наука. В този дух е и обращението към *учените българи* в «литературное пьприше» да изпращат материал «за книжний Български лист». Този вестник е трябвало да се нарича «Старопланинска звезда» или «Дунавски лебед», или «Зора»³². Раковски успява да издаде само един пробен брой от него със заглавие «Дунавский лебед» най-вероятно през август 1857 год., както става ясно от съобщението на сп. «Седмица».

В обявлението, за което споменахме, се определя и цената на »Българска дневница» – за цяла година две жълтици, а за половин – една. Предвижда се редовното му излизане да започне от 1 юни 1857 год. За крайдунавието вестниците ще се получават чрез Цвятко Радославов в Свишов и братя х. Петкович и Иван Мавриди в Русе; за Русия и Молдавия чрез Васил Добрович в Галац, а за Влашко чрез Александър Живкович в Букуреш и М. Попов в Браила. Пробният брой се посреща с изключителен интерес от българите. Запазени са десетки писма, които показват отношението към него, надеждата, с която се очаква, както и проблемите около събирането на абонати и спомоществатели. В писмото си от Русе Петър С. Златов пише на 2 май 1857 год.: «Дневницата» мислим и ся надяваме според «Обявлението» ви от 1-и юний да започни редовно издаването ѝ, и ако да не може, както ви ся рече, изведнаж да ся явът доволно спомощници...»³³ А Никола П. Тъпчилешов известява на Раковски от Цариград на 8 май с. г.: «Всичките българи, които живеят тук в Цариград, почувствуваха голяма радост и благодарение, като получиха първият лист от «Дневница», която сте предприели да издавате на говоримият наш язык [...]. Колкото за сега, тук в Ц [ари] град можах да ви събера спомощници за 50 тъкмо листа [...]. Да бъдете строги към гръцкото духовенство [...]; языкът в «Дневницата» да побългарите повечко; пък и членовити да употребити, за да проумява и по-простий народ»³⁴.

До появяването на пробния брой д-р Данило Медакович няма официално разрешение за новия български вестник. Такова се получава по-късно. Някои от изследователите, на които не са известни ред документи в сръбските архиви, свързват

даването на разрешение с появяването на пробния брой. «Разрешението най-сетне е получено: «Българска дневница» ще излиза под редакцията на д-р Данило Медакович като превод от «Сръбски дневник». Завърнал се в Нови Сад, на 4 април 1857 г. Раковски издава пробния брой на своя вестник под наименованието «Дневница»³⁵. Освен това и сам Данило Медакович пише, че няма разрешение още за новия вестник. В обявлението, публикувано в «Дневница», четем: «Писмено прошение за допусане дадохми и скоро ся надеими да получими удобренье.» Изглежда обаче Медакович не получава такова удобренье бързо и на 8 април 1857 год. пише нова молба, този път до гражданския и военен управител на Войводство Сърбия и Тамишки Банат фелдмаршаллейтенант граф Йохан Коронин фон Кронберг. «Излизащият под моя редакция вестник «Сръбски дневник» – отбелязва Медакович – намери прием и сред българи от различни области. Тъй като много от тях обаче не разбират напълно сръбски език, от различни места бях помолен да издавам моя вестник «Дневник» и в български превод [...].

Понеже Висшата Наредба за печата не съдържа специални разпореджания за такива случаи, моля най-смирено следното:

Ваше Превъзходителство да благоволят и дадат височайшето си съгласие, че ми се разрешава да издавам моя вестник «Дневник» като превод на български език»³⁶. На молбата е поставена резолюция с дата 25 април 1857 год., в която се посочва, че за да се даде положителен отговор, е необходимо да се знае «политическото поведение на просителя». Такъв отговор се изпраща до губернатора едва на 15 юни. Забавянето се дължи най-вероятно на сведенията, които е трябвало да се съберат за д-р Данило Медакович и неговият «Сръбски дневник». Медакович е представен като умерен в журналистическата си дейност. Що се отнася до характера на вестника, сочи се, че защитава повече интересите на Русия, а не на Турция. Предлага се също да се провери чрез австрийската легация в Константинопол дали българският превод на «Сръбски дневник» може да доведе до «оплаквания и рекламации от страна на турското правителство».

Разрешението е подписано в Тимишоара от майор Лихтнер на 25 юни 1857 год. и се изпраща до Околийския орган на властта в Нови Сад и полицейската дирекция в града. Изглежда, че д-р Данило Медакович и Георги Раковски са в течение на преписката, защото първият брой на «Българска дневница» се появява още на 26 юни 1857 год. Ясно, че той е подготвен предварително, за да може да излезе веднага след подписване на разрешението. «Българска дневница», макар и

регистриран като преводно копие на «Сръбски дневник», не спазва това първоначално условие, а и д-р Данило Медакович, и Георги Раковски не са имали такова намерение³⁷. Донесенията, докладите и писмата, които се разменят около вестника, потвърждават това. На 2 септември 1857 год. от Виена се изпраща писмо до Президиума на губернаторството в Тимишоара, подписано от фелдмаршаллейтенант Хартман, в което се казва: «От постъпващите в тукашвана служебна библиотека екземпляри Върховните полицейски власти са установили, че от известно време в Нови Сад се издава седмичен вестник «Българска дневница» на български език. Той разглежда и въпроси, чието обсъждане е разрешено само на вестници, внесли гаранция»³⁸. На 9 септември с. г. от Тимишоара пък майор Лихтнер приканва Околийският управител в Нови Сад да «докладва по какъв начин се извършва полицейският надзор на излизания на български език превод на «Сръбски дневник» и още, дали печатарят Данило Медакович не си разрешава отклонения от сръбския текст или други нарушения»³¹. В отговора си от 21 септември 1857 год. губернаторският съветник Трънка пише, че вестникът се контролира от «полицейския служител Драгич», а «Истинският преводач на «Сръбски дневник», респективно редактор на «Българска дневница», е живеещият тук търговец и гръцки поданик Георг Стефанов Раковски от Атина и до сега в «Дневница» не са забелязани отклонения от сръбския текст и други нарушения»⁴⁰. Явно Трънка иска да предпази д-р Данило Медакович и в. «Българска дневница», защото разликата е очевидна, особено когато става дума за положението на народа в поробена България. Подобен е и отговора от Тимишоара до полицейските власти във Виена⁴¹. Той обаче не успява да ги заблуди, което подсказва, че австрийската полиция по собствен път е анализирала «Българска дневница». На 3 октомври 1857 год. тя изпраща писмо до губернаторството в Тимишоара, с което констатира, че вестникът «в никакъв случай не може да се разглежда като съставна част на «Сръбски дневник» [...], а по-скоро представлява самостоятелен периодичен орган, който според досегашното си съдържание подлежи на гаранционна вноска»⁴². Това е първата сериозна заплаха за «Българска дневница». Междувременно се намесва и Портата, което проличава от писмото изпратено на 3 ноември от Виена до Тимишоара. «Портата моли кайзеровото правителство – казва се в него – за евентуална помощ и му обръща внимание за излизания от известно време в австрийските области на български език вестник, издържан в най-превратаджийски дух и издаван от

бивш каторжник. Въпреки бдителността на турските гранични власти този вестник е проникнал в България»⁴³.

Нарежда се на д-р Данило Медакович да внесе необходимата гаранционна вноска, но той прави нова постъпка до правителството за освобождаване от такса, като продължава да твърди, че «Българска дневница» е само превод на «Сръбски дневник». Следва и заповед за спиране на вестника. Тъй като тя не е окончателна още, последният, 18 брой, излиза на 23 октомври. Брой 19, макар и под печат, не вижда бял свят. На 1 ноември 1857 год. д-р Данило Медакович изпраща съобщение до абонатите, в което между другото се казва: «Тия дни мя е опомянъла власт, че според прописанни закони трябва да власти новчан залог за Дневница (кауция) положи. Мислих да принеса и тая жъртва българскаго просвещения ради, и така съм ся надявал, че в почетък новия години ще ся издава особно Дневница, а не превод от дневник...»⁴⁴ Така завършва четири-месечното съществуване на «Българска дневница». По-нататък и д-р Данило Медакович не е в състояние да промени нещата. След разследването на полицията и разговорите с хазаите на Георги Раковски се констатира, че той «се проявява като политически съмнително лице, което се стреми от тук да пробужда страстите на своите земляци срещу законното правителство и очаква само един народен бунт, за да се върне в своето отечество»⁴⁵. На 3 ноември 1857 год. В резултат на това на 3 ноември 1857 год. е наредено Георги Раковски да напусне «кайзеровите земи». От сведението за изгонените от страната чужденци през ноември 1857 год., приложено към «виенския «Централен полицейски бюлетин», четем: «Раковски Георги Стефан, търговец и литератор, родом от Казан в България, живеещ в Атина, Гърция, неженен (на 36 години, висок, дългнесто лице, тъмна коса, черни очи, въздълъг нос, правилна уста, прави зъби, овална брадичка, тъмнокафяви мустаци и брада, на кутрето и на втория пръст на лявата ръка липсват крайните части; говори френски, български, турски, сръбски и румънски)⁴⁶, изгонен от полицейския комисарият в Нови Сад на 4 ноември т. г. като политически съмнителен»⁴⁷.

Георги Раковски обаче не напуска веднага пределите на Австро-Унгария, а само Нови Сад. От неговото «Автобиографично писмо до Иван С. Иванов», писано в Кубей най-вероятно в началото на 1858 год се разбира, че прекарва няколко дни в Земун, от където полицията иска да го предаде на белградския паша: «Молих се да ми дадат поне време да разположа моя вещи и книги. Но и то не ми се допуси. Известих телеграфом в Беч (Виена – б. м., Н. Д.) греческому генерал консулу барон

Сину, но по несчастию моему он беше по него време в Париж и неговият писар не можа нищо да ми помогне. Така вселукавии немци абие ме отправиха от Новаго сада на Земуна и оттамо искаха да ме предадат на белградский паша. Аз протестувах на това [...] и рекох им, че по-добре е за мене да ме убият тии, нежели да ме предадат варваръм!»⁴⁸ Благодарение на гръцкото си поданство и кръчкия си паспорт Георги Раковски успява да се спаси. На 8 ноември 1857 год. Напуска Земун и през Оршова заминава за Галац. Вероятно той разчита на д-р Медакович, че може да запази вестника, въпреки забраната и съобщението до абонатите от 1 ноември за спирането му. Това проличава от писмото на Георги Раковски до д-р Данило Медакович, изпратено на 5 ноември 1857 год. най-вероятно от Земун. За неговото съдържание съдим от отговора на д-р Медакович: «Получих двете Ваши писма – посочва той. – Разбрах, че на 5 ноем[ври] още не сте знаели, че «Дневница» е забранена напълно. Трябва това да е по искане на турците. Аз ще моля нашите власти да разрешат издаване на чисто български вестник макар да се налага да внесе такса, но надеждата е малка»⁴⁹.

С второто писмо, от 10 ноември 1857 год., Георги Раковски иска от д-р Данило Медакович удостоверение за времето, прекарано в Нови Сад, за да му послужи в Русия. Това удостоверение дава интересна информация за редактирането на «Българска дневница» от Раковски, затова ще цитираме част от него:

«Удостоверение на господин Савва С. Раковски, родом българин, пребивавал в Нови Сад в продължение на една година. Дошъл е тук и се е занимавал единствено с литературен труд. От началото на юни 1857 год. е бил особено активен при редактирането на «Българска дневница», която започва да излиза и излиза по негова инициатива и негово настояване...»⁵⁰

Георги С. Раковски напуска Австро-Унгария, но мисълта му за нов вестник не го оставя. Три години по-късно, на 1 септември 1860 год. в Белград започва да издава «Дунавски лебед». Това е заглавието на замисления по-рано неделен «любословний български народен лист за наука и забава», от който излиза само един пробен брой в Нови Сад през 1857 год.

¹ Арнаудов, М.: Георги Стойков Раковски. Живот – дело – идеи. София, 1969, с. 7.

- ² **Раковски, Г. С.:** Съчинения. Том първи. София, 1983, с. 88.
- ³ **Арnaudов, М.** Цит. съч., с. 9-10.
- ⁴ **Киселков, В. Сл.** Софроний Врачански. Живот и творчество. София, 1963, с. 15.
- ⁵ Д-р Данило Медакович е роден в Зърманя, Далмация, на 17. XII. 1819 г. и умира на 5. XI. 1881 г. в Загреб. Гимназия учи в Задар. Постъпва чиновник в княжеската канцелария в Крагуевац. Княз Милош харесва Медакович и когато княгиня Любича е изпратена със синовете си Милан и Михаил да учат в Тимишоара, с тях отива и Данило Медакович като домашен учител. Бил е секретар на княз Милош. Медакович учи история във Виена и докторира по философия в Берлинския университет. Автор е на четиритомната «Историја српског народа од најстаријих времена до 1850». Обявява също, че ще пише «Историја бугарског и хрватског народа», която идея остава неосъществена.
- ⁶ **Оглас.** – *Србски дневник*, бр. 66, 19 август 1856. (Срв. същата обява и в бр. 67 от 23 авг. и в бр. 69 от 30 авг. 1856 г.).
- ⁷ **Мајзнер, А.** Мемоари. – *Мешовита грађа*, Кн. III, Београд, 1974, с. 87-88.
- ⁸ **Раковски, Г. С.** Съчинения. Т. I. София, 1983, с. 87.
- ⁹ **Раковски, Г. С.** Съчинения. Т. I. София, 1983, с. 81.
- ¹⁰ **Архив** на Г. С. Раковски. Т. I. Писма и ръкописи на Раковски. София, 1952, с. 46.
- ¹¹ **Капер, З.** По нашем Подунављу. Превео Ђорђу Стратимировић. Први део , с. 4.
- ¹² **Стаић, Васа.** Културна прегнућа Новосадских Срба. – В: Споменица града Новог Сада. Сремски Карловци, 1933, с. 124-139.

- ¹³ **Милотиновић,** Коста. Г. С. Раковски у Новом Саду 1856-1857. - В: Зборник за друштвене науке. Матица Српска [Нови Сад], свеска 21, 1958, с. 6.
- ¹⁴ **Станојевић,** Ст. Нови Сад. - *Гласник историског друштва у Новом Саду*, књ. VI, св. 1 и 2, Сремски Карловци, 1933, с. III.
- ¹⁵ До бр. 11 «Јужна пчела» се печата в Тимешуара.
- ¹⁶ Д-р Данило Медакович редактира вестника до бр. 38, 1859 г., след което «Србски дневник» е поет от Йован Джорджевич. Той го редактира пък до бр. 82, 1864 г., когато е изправен пред военен съд.
- ¹⁷ **Игњатович,** Джордже. Георгий С. Раковски 1867-1967. Ниш, 1967, с. 12-13.
- ¹⁸ Пак там, с. 13.
- ¹⁹ **Свишов.** - *Србски дневник*, бр. 15, 19 февруари 1856.
- ²⁰ Л. С. Из Търнова у Бугарской - *Србски дневник*, бр. 25, 25 март 1856.
- ²¹ Под **Хатишерифа** в случая трябва да се разбира **Хатикуманна**.
- ²² В. Д. С. У Видину. - *Србски дневник*, бр. 33, 26 април 1856. (Срв. И за своеволията в Лом Паланка, бр. 31, 19 април 1856).
- ²³ У. Из Шумена (Шумле). 2 авг. *Србски дневник*, бр. 66, 19 август 1856.
- ²⁴ А. Београд, 11 юлия. - *Србски дневник*, бр. 8, 16 юли 1852. (Вероятно в информацията става дума за Никола Карастоянов, роден ок. 1778 г. в Самоков и починал в родното си селище през 1874 г.).
- ²⁵ А. Београд, 30 октобра. *Србски дневник*, бр. 37, 31 октомври 1852.

- ²⁶ Архив Г. С. Раковски. Т. I. София, 1952, с. 69. (Нови Сад, 29. I. 1857 г.)
- ²⁷ Архив Г. С. Раковски. Т. I. София, 1952, с. 73. (Нови Сад, 6. II. 1857 г.)
- ²⁸ Игњатович, Джордже. Георгиј С. Раковски 1867–1967. Ниш, 1967, с. 13.) Срв. и писмото на Г. Раковски до Гаврил х. Денкович в Свишов от 6 февруари 1857 г.: «Дњес отивами у Бјалград с г. Медаковича и след 5 дњя, ако Бог да здрави, ше ся в Новий Сад пак възвратими...» – Архив Г. С. Раковски. Т. I. София, 1952, с. 75.)
- ²⁹ Игњатович, Джордже. Цит. съч., с. 10–11.
- ³⁰ Раковски, Г. С. Съчинения. Т. II. София, 1983, с. 15.
- ³¹ Седмица, кн. 33, 8 септември 1857, с. 257–259. (Според Г. Раковски този южнославянски език е по-добре да се изгради върху архаична морфологична и ортографична основа.)
- ³² Архив Г. С. Раковски. Т. I. София, 1952, с. 112. (Писмо до Ив. Мавриди и Бр. Петкович в Русе, от 17 май 1857 г.). Срв. и писмото на Раковски до Петър Златев в Русе от юни 1857 г. – В: Архив Г. С. Раковски. Т. I. София, 1952, с. 125.
- ³³ Архив Г. С. Раковски. Т. I. София, 1957. с. 191.
- ³⁴ Архив Г. С. Раковски. Т. I. София, 1957. с. 184–185.
- ³⁵ Трайков, Веселин. Георги Стойков Раковски като публицист. – В: Георги Стойков Раковски. Съчинения. Т. 2. София, 1983, с. 479.
- ³⁶ Крестић, Василије. Нова грађа о Българској дневници. – *Зборник за историју*, бр. 20, 1979, с. 124, № 1865. В. Крестич публикува 13 документа на немски език, открити в Архив Сърбия, които тук се ползват за пръв път и се правят достояние на български.
- ³⁷ Вж. по този въпрос проучването на **Боршуков**, Георги. Журналистиката на Г. С. Раковски. I. От най-ранни прояви на Раковски като публицист и журналист до края на в.

«Българска дневница». – Годишник на СУ ФФ. София, 1963, Т. I. VII, 1, с. 204-338.

- ³⁸ **Крестић, Василије** Нова граѓа о Българској дневници, с. 125, № 2711.
- ³⁹ **Крестић, Василије** Нова граѓа ..., с. 126, № 2711.
- ⁴⁰ **Крестић, Василије** Нова граѓа ..., с. 126, № 2848.
- ⁴¹ **Крестић, Василије** Нова граѓа ..., с. 126-127, № 2848.
- ⁴² **Крестић, Василије** Нова граѓа ..., с. 127, № 3008.
- ⁴³ **Крестић, Василије** Нова граѓа ..., с. 127-128, № 3351.
- ⁴⁴ **Архив Г. С. Раковски.** Т. I. София, 1952, с. 138-139.
- ⁴⁵ **Крестић, Василије** Нова граѓа ..., с. 130, № 3528.
- ⁴⁶ Раковски е знаел оше гръцки, руски, а немски е ползвал, което не е посочено.
- ⁴⁷ Ausweis über die im Monate November 1857 landesverwiesenen oder abjeschaften Auslander. Beilage zum Central-Polizei-Blatte, nr. 130, Wien, 1857, S. III.
- ⁴⁸ **Раковски, Г. С.** Съчинения, Том първи. София, 1983, с. 82.
- ⁴⁹ **Архив на Г. С. Раковски.** Т. II. София, 1957, с. 261. (Писмото е на сърбохърватски и носи дата 25 ноември 1857 г.)
- ⁵⁰ **Архив на Г. С. Раковски.** Т. II. София, 1957, с. 263. (Удостоверението е на сърбохърватски и е писано през ноември 1857 г.)

«Шевченко в Угорщині»

I. П. МЕГЕЛА

Важко назвати ще одного зарубіжного поета, який би користувався такою шаню в Угорщині, як Т. Г. Шевченко. Нині – це незаперечний факт, хоч шлях до такого визнання був складний і значною мірою залежав від обставин суспільно-політичного розвитку, від стосунків в минулому між Росією та Угорщиною.

У науковій літературі подибуємо різне датування перших відомостей про поета в цій країні. В. Шеер у розвідці «Шевченко в Угорщині» називає першою публікацією К. Кеньвеша-Тота «Про російського селянського поета», що з'явилася 1888 року в журналах «Vasárnapi Újság» та «Képes folyóirat». В. Ю. Васовчик по'язує початок угорської Шевченкіани з 1898 р., коли Міклош Матей опублікував у газеті «Magyar állam» (№ 150) уривок з поеми «Кавказ» і невеличку статтю про Шевченка. Шандор Ласло у книзі «Наша Батьківщина – Східна Європа» посилається на першу згадку про поета в журналі «Kogunk tárcája» (1865 р.), що належала Імре Зілахі, перекладачеві Пушкіна, Лермонтова.

Ранні публікації про Шевченка носили здебільшого загальний характер, життя поета описувалося в романтизованому тоні, головний акцент зміщався на вузлові моменти історичного минулого України. Шевченко поставав «пророком малоросів», який своїми поезіями освітлює для

українського народу шлях у майбутнє.

Суспільно-політична ситуація, становище селянства в Угорщині були інші, ніж у царській Росії, соціальний гніт не такий важкий. Після 1867 р., внаслідок компромісної угоди з Габсбургами, серед угорців посилюються настрої невдоволення, прагнення до національної і соціальної свободи. Поезія Шевченка, з якою вони починають знайомитися, виявилася особливо співзвучною їх прагненням. Офіційна преса не приховувала свого ворожого ставлення до поета-революціонера, вбачаючи в ньому небезпеку не тільки для царського самодержавства, але й для австро-угорської монархії.

Однак замовчати проїняту волелюбними мотивами революційну поезію Шевченка було неможливо. Дедалі частіше з'являються нові публікації про життя і творчість поета. «Він мріяв про республіку, де б панували справедливість і братня любов... Він став пророком серед українців, тому вони так високо шанують його пам'ять», - писав К. Кенгвеш-Тот. Через два роки в журналі «Magyar állam» Шевченко названий основоположником української літератури, «найсильніший духом і водночас найбільший мученик в умовах царату».

Популяризатор українського мистецтва слова в Угорщині, греко-католицький священник із Закарпаття Юрій Жаткович у «Короткому нарисі історії малоруської літератури» («Magyar állam» 1900 р.) назвав Шевченка «українським Петефі», поставивши його в один ряд з класиками російської літератури - Пушкіним і Лермонтовим.

І все ж загальна ситуація в угорській літературі після поразки революції 1848-1849 рр., трагічної загибелі Ш. Петефі, коли революційна хвиля пішла на спад і набрала поширення естетична теорія ідеалізації, втечі у світ фантазії, відходу від гострих соціальних проблем, коли посилюються настрої трагічності, зріс інтерес до драматичних периметрів в історії людства, не дуже сприяла чіткому розумінню поезії Шевченка, її революційно спрямованості.

Значне пошавлення в культурно-політичному житті Угорщини, яке спостерігалось на початку ХХ стр., позначилося на оцінці, сприйнятті поезії Кобзаря. Іштван Мольнар у статті «Т. Г. Шевченко», що була над рукована в журналі «Urania» (1910 р.) відзначає художню силу, музикальність віршів поета, соціальну спрямованість, пристрасну ненависть до гнобителів народу. Поезія Шевченка близька і зрозуміла всім, соскільки вона виражає загальнолюдські почуття, оскільки способи її вираження кореняться в народній свідомості, народній творчості. Поезія Шевченка

розглядається в одному ряду з такими видатними майстрами слова, як Кольцов, Некрасов, Байрон.

У складних умовах загострення стосунків між Росією й Австро-Угорщиною велике значення для правильного розуміння розвитку української літератури, ролі в ньому Т. Г. Шевченка мала стаття І. Франка «Малороси» (Kisgorosok), надрукована у 4-ому томі «Енциклопедії світової літератури» (Будапешт, 1911 р.).

Наближенню творчості Кобзаря до угорського читача сприяла діяльність Гіадора Стрипського. До 100-річного ювілею нашого геніального поета він опублікував статтю «Український Петефі» (тижневик «Vasárnapi Újság», 1914 р.), в якій підкреслював бойовий демократичний дух творчості Шевченка, наголошуючи на тому, що Кобзар поверну своєму народові його мову, довівши своєю творчістю їй право на існування. Шевченко в його оцінці постає аже як символ національної літератури.

Ще більше зростає інтерес до поезії Кобзаря після появи перекладів Г. Стрипського. За його допомогою вдалі переклади віршів «Минають дні, минають ночі» (Napok múlnak és éjek múlnak), «До Основ'яненка» (Osznovjanyenkohoz), «Наймичка» (Szolgálólány, kicsiny, szelíd), «Заповіт» (Végrendelet) підготував викладач гімназії Балінт Варга. Їх спільний переклад «Заповіту» був надрукований у журналі «Ukránia» (1916 № 3-4).

Через два роки з'являється новий переклад «Заповіту», який виконав письменник, редактор тижневика «Kelet» Янош Анка. Ці перші, хоча й точні, але не зовсім досконалі з точки зору ритмомелодики переклади, викликали значний інтерес до творчості Шевченка.

«Заповіт» полонив відомого поета, критика Арпада Земплені. За підрядниками Г. Стрипського ним майстерно перекладені поема «Казказ», «Думи мої, думи мої» (Énekeim), «Садок вишневий коло хати» (Megyfák a ház-mellett a kertben), «Огні горять, музика грає» (A lámpák égnek), «І небо невмите...» (Mosdatlan ég álmos hullámok szüntelen), «Сонце заходить» (Hegy feketül fönn), «Чого ти ходиш на могилу?» (Miért jársz a temetőbe).

По-новому сприймалася бунтарська поезія Кобзаря революційними письменниками, які у 20-30-і роки жили в еміграції в СРСР. Слова «Заповіту» - «вставайте, кайдани порвіте» - у важкі часи хортистського режиму звучали для угорського народу як заклик до нової боротьби. Ідеї

«Заповіту» виявилися близькими Ш. Лані, А. Гідашу, А. Габору.

З нагоди 125-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка в журналі «Уй Ганг» (1939, № 4) Ш. Лані надрукувала статтю про поета і переклади «Заповіту» (Végrendelet), «О люди! Люди небораки!», «Чого мені тяжко, чого мені нудно?», «В неволі тяжко, хоча й волі...» (Nehéz, nehéz a gabság nekem).

В 1936 році журнал «Когунк», який виходив у м. Клуж (СРР), вмістив статтю про Шевченка, в якій наголошувалося на тому, що спадщина українського генія проникнута духом національного визволення, що завдяки глибокому активному гуманізму, який базується на принципах справедливості, дружби між народами, його поезія піднімається на вищий європейський рівень.

Переклади в Шевченка з'являлися навіть у важкі воєнні роки. 1944 році виходить новий переклад «Заповіту», виконаний Марцелем Колошем (антологія «На лютні Аріона». 250 років європейської поезії).

Нова хвиля сприйняття творчості Шевченка пов'язана з іменем Гези Кепеша – відомого поета, перекладача, літературознавця. Крім «Заповіту» Кепеш підготував цілу добірку перекладів Шевченка, яка увійшла до антології «Вибрані переклади» (1951 р.) Кепешу, активному учаснику Руху Опору були близькими волелюбність, бунтарський дух поезії Шевченка.

Особливо знаменним виявився 1951 р. Тоді побачило світ перше видання «Кобзаря» угорською мовою (Ужгород, «Радянська школа»). До цієї збірки увійшли 28 поезій Шевченка у перекладах А. Гідаша. «Я багато перекладав, згадував Гідаш, – російських класиків від Державіна – до Маяковського, сучасних радянських поетів – від Твардовського до Мартинова і Євтушенко. І першим переклав на угорську мову те, що мені ближче за все – «Кобзаря» Тараса Шевченка».

В цьому ж році опублікували свої інтерпретації «Заповіта» Дьєрдь Радо – перекладача творів П. Грабовського, Лесі Українки, Л. Первомайського, Ю. Дольд-Михайлика, Н. Рибака (він же автор статей про Шевченка, про угорсько-українські літературні взаємини, книги «Наш сусід – Україна») та поетеса Єва Грігаші, яка виросла в білінгвістичному оточенні, гарно володіє українською мовою, популяризує українську літературу. Згодом її переклади поезії «Не кидай матері – казали:», «Чого ти ходиш на могилу?», «Сон» (Álom), «Гори мої високі», «Ой гляну я подивлюся», «Добро у кого є господа», «Якби зустрілися ми

знову», (Ha találkoznánk újra szívem), «Не для людей, тієї слави», «Ой не п'ються пива-меди», «Неначе степом чумаки» та «Ой діброво- темний гаю» увійшли до Кобзаря 1961 року.

140-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка було відзначене появою нового «Кобзаря», майстерно виконаного відомим поетом Шандором Верешем. До нього увійшло понад 120 віршів геніального Тараса. Відгукуючись на це видання. Газета «Szabad nép» назвала Шевченка «одним з найцілеспрямованіших поетів у світовій літературі».

Поезія Кобзаря заповнила душу Вереша. Ремінісценції з Шевченка знаходимо в його оригінальній творчості. До циклу поезій під назвою «Варіації на теми Т. Г. Шевченка» увійшли три вірші - «Гайдамаки», «В казематі» (Börtönben), та «Кобзар» (Kobzos).

До 100-річчя з дня смерті Шевченка «Кобзар» був перевиданий. Аналізуючи особливості лірики Шевченка, Г. Кепеш говорить про її органічний зв'язок з мотивами й римами української народної поезії. Шевченко збагатив фольклорні форми, надавши їм різноманітності й напруженості, застосовуючи енкавтамент - переніс думки з одного рядка в інший. Ямбічні строфи чергуються з рядками, написаними коломийковим розміром. Таке поєднання різних форм поезії немає аналогів у світовій літературі. Кепеш зіставляє Шевченка з Бернсом і Петефі у плані підняття народної мови до рівня високої культури поетичного вираження.

Продовжуючи лінію зіставлення Шевченка з Петефі, журнал «Új világ» відзначає: «Якщо історичний епос і балади Шевченка нагадують нам угорських романтиків, то його пісні й політичні вірші нагадують Петефі. Так, як і Петефі, він вірить тільки в силу народу і надихає його на боротьбу, на революцію... Їхня поезія має спільне коріння, тому що ритм її продиктований биттям серця народу».

На думку Тибора Барабаша - автора популярних історичних романів найвище досягнення Шевченка як народного поета зумовлене його здатністю «підняти до висоти мистецтва найкращі надії свого часу». Виходячи з того, що у суспільному розвитку України й Угорщини було чимало спільного, поезія тут служила могутньою зброєю. «Цілеспрямованість частих згадок про минуле у Шевченка така ж, як і в М. Верешмарті, - запалити ненависть проти свавілля і гнобителів, підняти народ на боротьбу».

Поряд з критичним осмисленням творчої спадщини Шевченка продовжується ознайомлення з його творами. Кожний новий переклад - це не тільки розширення тематичних горизонтів,

але водночас нове, глибше проникнення у художній світ геніального Кобзаря.

У 1983 році в серії «Ліра мунді» вийшла нова збірка «Вибраного» Шевченка, упорядкована відомим україністом Палом Мішлеї. Крім багатьох інших творів до неї увійшли 11 перекладів «Заповіту». Останні два належать відомим сучасним поетам Деже Тандорі та Деже Чорбі. Обидва справжні віртуози стилю. Д. Тандорі, зокрема, вже має певні заслуги перед українською літературою, він блискуче переклав поезії Д. Павличка.

До 175-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка побачило світ спільне видання «Європа/ Будапешт и «Карпати» Ужгород під назвою «Черничий гімн» (Arácahimnusz). Видання ілюстроване малярськими роботами поета. В анотації до видання зазначається, що «Тарас Шевченко понині найбільша й одна з найцікавіших постатей української поезії. Природний голос, ліричність, теми взяті з життя рідного народу, незламна любов до свободи багато в чому нагадують Петефі».

Популярність творчості Т. Г. Шевченка в Угорщині – свідчення її життєдайності. І нині в умовах соціального оновлення, демократизації в країнах Центральної і Східної Європи вона виступає джерелом натхнення, зразком високої художності, служіння мистецтва ідеям свободи і справедливості.

О литературной аргументации

3. ХАЙНАДИ

Tertium datur!

Закон исключенного третьего - закон логики, согласно которому из двух высказываний - таких, когда одно отрицает то, что утверждается другим, - одно непременно истинно. Так из двух высказываний: «Антигона - виновна» и «Антигона - не виновна» или «Креон - прав» и «Креон - не прав» - одно непременно истинно. Имея в виду такого рода высказывания, традиционная формальная логика формулировала закон так: «А есть Б либо не Б», третьего не дано: *tertium non datur!*

Первую формулировку закона *exclusi tertii principium* дал Аристотель в своей *Логике*, а не в *Поэтике*. Истина входит в область логики, а красота в область эстетики. Закон логики и закон эстетики порою диматериально противоположны. По закону эстетики два отрицающих друг друга предложения могут быть одновременно истинными. В связи с этим уместно напомнить противоположное мнение двух философов о Креоне. Гегель видел в нем поборника правды, защищающего интересы полиса. (Ведь Креон запрещает погребение Полиника - предателя родины.) В глазах Шопенгауэра Креон - воплощение неслыханного злодея и тирана, запрещающего Антигоне похоронить брата по-крови. Антигона защищает права прежней,

ослабевшей нравственности. Креон требует, чтобы Антигона подчинилась не закону совести, а закону власти. Трагично, что в столкновении двух нравственностей обе стороны в некоторой степени правы.

Силлогизмы говорят о всеобщем человеке, поэт говорит об индивидуальном случае. Человек – не человек-вообще, не *Caïus* – лицо, служащее в учебниках по логике примером стереотипного силлогизма, а единственная в своем роде неповторимая личность, поэтому так резко протестует герой Толстого против снабжения его ярлыком *человека-вообще*. «Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай – человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; [...] И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, – мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.» (Толстой, XII, 86–87)

В области поэтики нельзя однозначно ответить на вопрос, кто виновен, кто прав. Вопросы неразрешимы, но не писатель вводит антиномию в жизнь, он находит ее в ней. Парадоксально, но бывает и то, что преступник оказывается жертвой и наоборот. Зло совершают не всегда злые люди. Литературные герои, вопреки законам логики, могут обладать взаимоисключающими свойствами. По выражению Толстого, человеческий характер *текущий*: это значит, «что один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо.» (XXII, 86)

Ни один текст, даже сакральный, не может обладать абсолютно адекватным замыслу содержанием. В действительности имеется очень много точек зрения и каждая из них может быть верной. Только та перспектива ложна, которая стремится к своей исключительности. Множественность точек зрения – это значит: истина относительна. Истина не является привилегией всезнающего автора или рассказчика, она рождается путем столкновения разных точек зрения героев. Объективный писатель не предвещает судьбу героев. Нити действия он разворачивает так, как папирусный свиток: одновременно мы видим только одну строку, а что произойдет в следующей, не только читатель но сам автор не знает. В связи с этим стоит процитировать слова Толстого, которые он высказал одному своему знакомому, когда тот упрекал его в том, что он

жестоко поступил с Анной Карениной, ибо заставил ее погибнуть под колесами поезда. «Это мнение напоминает мне случай, бывший с Пушкиным. Однажды он сказал кому-то из своих приятелей: Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Она – замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее. То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.» (Толстовский ежегодник, 1912, 58)

Объективный аспект повествования, в противовес субъективной точке зрения, позволяет героям без авторского вмешательства высказать свое мнение, а между тем позиция автора остается до самого конца скрытой. Об объективном романе русские писатели первой половины 19. века только мечтали. Об этом свидетельствует предисловие Чернышевского к своему незаконченному роману *Перл создания*: «Написать роман без любви – без всякого женского лица – это вещь очень трудная. Но у меня потребность испытать свои силы над делом, еще более трудным: написать роман чисто объективный, в котором не было бы никакого следа не только личных отношений, – даже никакого следа моих личных симпатий. В русской литературе нет ни одного такого романа. *Онегин*, *Герой нашего времени* – вещи прямо субъективные; в *Мертвых душах* нет личного портрета автора или портретов его знакомых, но тоже внесены личные симпатии автора, в них-то и сила впечатления, производимого этим романом.» (цит: Бахтин, 1972, 112)

Объективная повествовательная манера была выработана Достоевским, Толстым, Чеховым и другими. Объективный рассказчик не пытается разгадать чувства героев, движущие силы их поступков или же вложить в уста других героев ключ к их разгадке. Он пишет так, как будто события происходят перед ним, а он является их очевидцем. Достоевский словами нарратора *Бесов* метко раскрыл сущность этого метода: «Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи.» (Достоевский, 10, 166)

Толстой тоже говорил о том, что «впечатление всякая вещь, всякий рассказ производит только тогда, когда нельзя разобрать, кому сочувствует автор. И вот надо было все так писать, чтобы этого не было заметно.» (Оболенский, 1978, I/242-243)

Это мнение Толстой высказал по поводу описания говенья Левина в романе *Анна Каренина*. В этой сцене он с бесстрашной объективностью, *sine ira* повествует о споре между атеистом Левиным и священником, и нет ни малейшего признака того, на чьей он стороне. Этот рассказ он четыре раза переделывал, пока из него не исчез его личный взгляд. Он приводит серьезные доводы как в защиту веры, так и против нее.

Тезисные романы строились на столкновении противоположных идей и идеалов. У Толстого герои не так противопоставлены друг другу, как будто один является отрицательным, а другой – положительным. Толстой избегает преднамеренной тенденциозной постановки вопроса о незаконной и легитимной любви. Нельзя однозначно ответить на вопрос: Анна является жертвой черствого мужа? или Каренин является жертвой безнравственной женщины? В романе ни один герой полностью не прав, а каждый прав по-своему. Было бы ошибочно видеть в Каренине (или Вронском) злодея, причиняющего смерть Анне. Сторонники конвенционной морали, типа Лидии Ивановны, наоборот, видят в нем защитника семейного очага, в то время как другие герои романа – палача любви. Анна не понимает, почему для других, для Бетси, например, внебрачная любовь – все это легко, а для нее так мучительно. В одном месте романа Бетси отвечает ей так: «Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мученье, и смотреть просто и даже весело.» (VIII, 329) На мораль можно смотреть глазами Фауста и глазами Мефистофеля.

Проблема чувственной и платонической любви, затронутая в самом начале романа, в разговоре Левина с Облонским постепенно становится стержневой проблемой целого романа. В этом эпизоде мастерски сконцентрированы основные мотивы романа. Речь заходит о *Лире* Платона, в котором о любви высказываются люди различных положений и взглядов. Проблема человеческого счастья и несчастья проходит до конца романа в «голосах», вступающих один за другим в действие. Каждый из них имеет собственные воззрения на любовь, на счастье, сообразно своему жизненному опыту. Идеино-нравственным центром являются Анна и Левин. Поступки Облонского, Бетси Тверской, Сафо Штольц, Лизы Меркаловой – это вульгарные случаи человеческого поведения, примеры отклонения от идеала. Они образуют контрапункт трагедии спальни: комедию спальни. Включением параллельных сюжетных линий Толстой заменяет однолинейную композицию романа на двух (или

многоплановую) структуру. Романы, состоящие из одной сюжетной линии, освещают поставленную проблему с одной точки зрения. А в романной композиции, состоящей из двух или более линий действия, точка зрения колеблется: то один, то другой персонаж, такое или другое событие – попадают в поле зрения повествователя, освещающего их. Переплетение и пересечение различных плоскостей изображения собирает воедино все действие. Судьба героини, таким образом, кажется не неожиданной случайностью, а манифестацией всеобщего закона. Параллельные плоскости сюжета служат обобщению основной темы или, говоря словами Толстого, – ее генерализации.

Анна, слушаясь своего сердца, живет эмоционально (эстетически), а Левин, следуя разуму – этически. Трагическое противоречие рождается из того, что сердце готово принести других в жертву, ради собственного счастья, а разум – частного лица ради других. Стремление ума и желание сердца редко совпадают. «Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой.» (14, 100) Неразрешимость противоречия разума и сердца является источником трагедии.

Левин воплощает в романе «ум ума», а Анна – «ум сердца» (выражения Толстого). Левин подходит к решению проблем с точки зрения разума, а Анна – с позиции эмпирического переживания и чувства. Каренин – тоже человек ума, головы: καεποη по-гречески обозначает голову, главу. Толстой владел греческим языком и эту фамилию он с удовольствием дает таким героям, в которых разум, «ум ума» преобладает над «умом сердца». Люди ума размышляют в силлогизмах. Для Каренина тоже характерно формально-логическое мышление. После ссоры с женой он говорит Анне: «Я муж твой и люблю тебя.» (VIII, 165) Из первой предпосылки вовсе не следует вторая. Иван Ильич уже по-русски получает фамилию Головин (голова). В *Живом трупе* Карениным зовут педантичного, сухого любовника. Среди героев Толстого, думающих «умом ума», наиболее благоприятное освещение получает автобиографический Левин. Толстой, несмотря на всю свою критику, оправдывает Левина тем, что «он жил хорошо, но думал дурно». (IX, 395)

Смерть Анны в конце романа является логичным последствием тех конфликтных ситуаций, в которые она вовлечена. В интересах раскрытия сложной цепи причинно-следственных взаимоотношений Толстой выставляет параллельные действия рядом с Анной и Вронским. Рядом с параллелями Кити-Левин, Долли-Облонский встречаются и

другие, более эпизодические пары: Николай Левин – Марья Николаевна, Сергей Кознышев – Варенька, Бетси Тверская – Тушкевич, Иван Пармёнов и его молодая жена, голубиная пара Свяжских и т. д. Действия, освещающие друг друга, несмотря на их контраст, органически дополняют друг друга. И в тоже время они подчеркивают тот факт, что противоречия, схожие с Аннинными, могли бы получить другое разрешение и по содержанию и форме.

Толстой по-новому разрешает проблему преступления и наказания. По мере приближения к разрешению конфликта виновность Анны переоценивается и мысль о наказании отпадает. Эпиграф – "Мне отмщение, и Аз воздам", попавший из более раннего варианта романа в его окончательный текст, относится уже не только и не в первую очередь, к Анне, на что указывает страстный голос повествователя, а ко лжи и к обману, жертвой чего становится героиня. Толстой, если даже и осуждает Анну за то, что она хотела построить свое счастье на несчастье мужа и сына, но делает это только потому, чтобы позднее оправдать и избавить ее от ответственности.

Анна нарушает вечные законы семьи, но в ее положении и нельзя не нарушить их. В образах Долли и Кити Толстой обосновывает и идеализирует брак, но образом Анны оправдывает и нарушение брака. Пафос отвержения окаменелых нравственных норм выражается сильнее в судьбе Анны. Полифония «голосов» романа означает не отсутствие позиции повествователя, а «голосоведение» нового типа, в ходе которого автор может не отождествляться ни с одной из точек зрения. Ибо, если бы он был согласен с одной из них, то было бы это в ущерб другой. А эта пристрастность противоречила бы тому методу изображения, которому должен быть верным объективный писатель.

Братья Карамазовы – это тоже шедевр русской объективной прозы. В романе почти не встречаются описания, в нем преобладают страстные споры о вере, о Боге. В кипении страстей почти исчезает эпическое повествование и не остается ничего другого, как раскаленный до бела диалог. Но рассказчик-летописец до конца сохраняет свою беспристрастность.

Споры Ивана и Алеши, Ивана и Зосимы о вопросах, неподдающихся эмпиричным чувствам, находящихся за пределами человеческих ощущений – это тонко проведенное метафизическое равенство.

На каждый тезис Иван находит антитезис. В его упреках, которые он делает Богу за то, что он плохо сотворил и устроил мир, Достоевский дает свободный ход взглядам, диаметрально противоположным его собственным убеждениям. Рационалист Иван не видит в миропорядке разумности, ибо, по его мнению, ничем нельзя обосновать страдания детей. Он не принимает гармонию в мире, основанную на детских слезах. Он доходит до отрицания Бога из-за любви к людям.

Достоевский не смог придать такую убеждающую силу утверждениям Зосимы, как отрицаниям Ивана. Старцу не удалось раскрыть противоречивость в системе доводов своего противника и дать убедительный ответ на все жизненно важные вопросы.

Достоевский в ходе написания романа, когда дошел до конца этих разговоров, сам был поражен, к каким выводам привела его диалектическая логика. Председателю Синода – Победоносцеву – он писал о том, что образом старца Зосимы ему нужно ответить на обвинения Ивана: «Вы тут же задаете *необходимейший* вопрос: что ответу на все эти атеистические положения у меня пока не оказалось, а их надо. То-то и есть и в этом-то теперь моя забота и все мое беспокойство. Ибо ответом на всю эту *отрицательную сторону* я и предположил бы вот этой 6-ой книге, «Русский инок», которая появится 31 августа. А потому и трепещу за неё в том смысле: будет ли она *достаточным* ответом. Тем более, что ответ-то ведь не прямой, не на положения прежде выраженные (в «Великом инквизиторе» и прежде) по пунктам, а лишь косвенный. Тут представляется нечто прямо противоположное выше выраженному мировоззрению, – но представляется опять-таки не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине.» (30/I, 121-122)

Он сформулировал ответ, однако его *позитивная сторона* оказалась более бледной, чем негативная. Василия Розанова тоже не убедили ответы русского старца на сомнения Ивана: «Построить опровержение этой диалектики, столь же глубокое и строгое, как она сама, без сомнения, составит одну из труднейших задач нашей философской и богословской литературы в будущем.» (Розанов, 1894, 89)

С помощью диалектики можно обнаружить только ошибку в системе доводов противника, но нельзя доказать истину. Истина недоказуема и невыразима на формализованном языке, а только на специально построенном метаязыке, как например в *Легенде о великом инквизиторе*.

Формой легенды является внутренний монолог, но Достоевский строит его так, что он кажется диалогом. Великий религиозный реформатор как бы ведет диалог сам с собой: «Христос все время молчит, он остается в тени. Положительная религиозная идея не находит себе выражения в слове. Истина о свободе неизреченна. Выразима лишь идея о принуждении.» (Бердяев, 1923, 196)

Нельзя однозначно решить, кто из них прав. Иван ставит под сомнение правоту Христа, ибо тот нагружает на плечи людей такую жестокую тяжесть, как свобода выбора. В его понимании инквизитор является больше человеколюбом, чем Христос, так как он снимает с их плеч мучительное бремя свободы и берёт на себя право и ответственность принимать решения.

Утопии Христа – любви к ближнему –, инквизитор противопоставляет другую утопию – свою мечту об идеально устроенной мировой империи, во главе которой стоит он.

Рассказчик Достоевского никого не судит, а лишь перечисляет факты без гнева и пристрастия. Из этого, однако вовсе не вытекает, что оба они правы. В романе объективная правда выкристаллизовывается путем столкновения субъективной правды отдельных героев.

В конечном итоге для читателя не представляет трудности решить чью правду считать правильной. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула» (14, 237) – говорит Алеша и точно также целует в губы старшего брата, как Христос в бескровные девяностолетние уста инквизитора. В такой безмолвной форме отвечает действенная любовь на противоположные доводы.

Через эту объективность просматривается то, что Достоевский сердцем признает правду за Иисусом и Алешей, но разумом более вескими считает доводы великого инквизитора и Ивана. Разум приходит в разлад с сердцем: то, что отрицает разум, поднимает свой голос в сердце.

Достоевский объективен как в раскрытии психологического мотива отцеубийства, так и в разоблачении философских причин поступков. На судебном процессе он с такой же убедительной силой строит речь прокурора, как и адвоката. Речи защитника и обвинителя являются великолепным примером софистического искусства спорить. «Господа присяжные, психология о двух концах и мы тоже умеем понимать психологию» (15, 162) – говорил адвокат и с помощью психологической манипуляции он доказывает: так как Федор Павлович Карамазов несколько не

подходил под то понятие об отце, значит и отцеубийства не было.

Достоевский потому считает опасными фальшивые психологические доводы, что за правильными на первый взгляд аргументами, применяя скрытые различные психологические уловки, одинаково успешно можно доказать виновность или невиновность обвиняемого. Достоевский протестует против такой психологии, с помощью которой без особой трудности можно объяснить без пробелов, почему человек совершил в прошлом то, что им сделано. Если принять ложные психологические аргументы за истинные, то можно привести и аргументы для убийства в будущем, что и случилось с Раскольниковым. Романы Достоевского говорят о фатальном последствии ошибки, получившейся с принятием необоснованных или ложных аргументов.

Односторонний психологический подход закономерно приводит к судебной ошибке. Адвокат в полной мере избавляет Митю от моральной ответственности, а прокурор не находит для него никакого оправдания. Обвинительная речь прокурора и речь защитника представляют собой мастерски созданное психологическое уравнение; следовательно, ни одна из его составных частей не может претендовать на полную обоснованность. Естественно, и Митя протестует против того, чтобы в нем усматривали либо благородного человека, либо – подлеца: «А вот именно потому, что мы натуры широкие, карамазовские – я ведь к тому и веду, – способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения.» (15, 129)

Толстой в *Воскресении* с такой же иронией изображает намерения прокурора, чтобы «проникнуть в глубь психологического преступления и обнаружить язвы общества» (XIII, 80)

Во имя объективной прозы Толстой отвернулся от диалектики души. Психологизирующий метод всегда связан с морализацией: в противовес объективности он подчеркивает субъективные аспекты. В какой мере усиливается драматический принцип, в такой же степени уменьшается потребность в психологическом изображении. Драматический повествователь говорит не о том, что чувствуют или думают герои, а показывает самого действующего человека. Душевную жизнь героев Толстой изображает, странным образом, не психологическими средствами. Он раскрывает характер в

действиях и поступках. Толстой, во имя объективной повествовательной манеры, от всезнающего рассказчика приближается к методу очевидца- повествователя. Объективный писатель не описывает, не рассказывает, а создает диалоги, то есть дает герою самому говорить. Роман - это не исповедь автора, в которой он непременно только и делает, что «проводит свои идеи». Он должен точно, без гнева и пристрастия воспроизвести реальность, истину жизни, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями. В аргументации повествователя за и против (*pro et contra*), доводы должны быть уравновешены. Настоящее искусство всегда многозначно и релятивно. Поскольку в художественном произведении могут быть одновременно истинными два (даже больше) отрицающих друг друга утверждения, задачей поэтического анализа должна быть не истинность какого-либо художественного текста, а скрытая в нем плюрализм. Истину искусства нельзя упростить и довести до очевидности силлогизма формальной логики, по закону которой: *tertium non datur!*

В поэтике недействителен закон исключенного третьего!

Объективной поэтике приходилось бороться против психологизма и рационализма за онтологию.

Литература

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1972.

Бердяев Н. Мирозерцание Достоевского. Прага, 1923.

Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Ленинград. 1972-1990. (Том и страница обозначаются арабскими цифрами.)

Оболенский А. Д. Две встречи с Л. Н. Толстым. = Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В двух томах. Москва, 1978.

Розанов В. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. Санкт-Петербург, 1894. 94.

Толстовской ежегодник 1912 г. Москва, 1912.

Толстой Л. Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Москва, 1978-1985. (Ссылки на это издание даются с обозначением римской цифрой - тома, арабской - страницы.)

«Легенда о великом инквизиторе»

Ч. КУКУЧКА

Предметом нашего анализа мы выбрали «Легенду о великом инквизиторе», потому что в этой поэме достигает вершины изложение идей свободы, ответственности и любви, которые, по нашему мнению, являются идейной основой творчества Достоевского, а сама поэма – увенчанием его религиозной философии.

Автор поэмы – Иван Карамазов является в идеологическом смысле центральной фигурой *Братьев Карамазовых*. Необходимо познакомиться с основными мыслями Ивана, чтобы понять, что привело его к «созданию» «Легенды», которая считается кульминацией сюжета романа. Ключ к «Легенде» даётся в «Бунте», в главе, которая вместе с «Легендой» являются – как отмечает сам Достоевский в записной книжке – центральными главами романа.

Иван обладает высоко образованным разумом. В нём завершается процесс многовекового развития философии разума от Платона до Канта. Рационалисту неприемлем Божий мир, потому что тот не оправдывается разумом из-за существующих в мире иррациональных начал, зла и страдания, которых «умом... не понять»¹. Силу аргументации Ивана даёт то, что он ссылается на самый чистый и однозначный вид зла – страдание детей. «... если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чём тут дети...» (14, 222)

Мировая гамония «не стоит слезинки хотя бы одного только того замученного ребёнка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискрупулёнными слезками своими к «Боженьке»!... слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно... Не Бога я не принимаю, Алёша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.» (14, 223)

На первый взгляд может казаться парадоксальным, мы всё-таки утверждаем, что аргументация Ивана сильнее всяких безбожных теорий именно потому, что Иван допускает существование Бога: «Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять.» (14, 214)

Тем самым, что Иван не принимает первородный грех, утверждает, что человек рождается невинным. Но если нет первородного греха, у Бога нет основы привлечь человека к ответственности, и тогда ответственность за существующее в мире зло можно возложить только на Бога самого. Значит, рассуждение Ивана приводит к утверждению злого Бога, что на самом деле – поскольку, зло и грех не совмещаются с Божьей натурой – нечто иное как отрицание Бога. Такая диалектика идей неизбежно ведёт Ивана к столкновению с образом Христа.

Алёша заметил этот единственный пункт в рассуждении Ивана, в связи с которым ещё можно задавать вопрос, потому что остальное основано на «непоколебимых фактах»: «... ты сказал сейчас: есть ли во всём мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может всё простить, всех и вся и за всё, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за всё. Ты забыл о нём...» (14,224). В ответ на это рассказывает Иван поэму «Великий инквизитор». Стоит обратить внимание на то, что Иван пишет поэму, то есть выражает свои мысли через не логические, а ассоциативные связи, параболистические воплощения, в чём отражается чутьё Ивана к неформулируемой на вербальном уровне, но всё таки существующей правде.

Иван относит фабулу своей поэмы к XVI-му веку, когда в Испании кипела самая кровавая пора истории инквизиции. Внезапно появляется в Севилье Христос. Он совершает чудеса, воскрешает мёртвых, а люди узнают его и преклоняются перед ним. Его видит и узнаёт и великий инквизитор – официальный служитель его учения, и велит его арестовать. Христа увозят в темницу, куда севильской душной ночью приходит к нему инквизитор. Суть поэмы даёт псевдиалог инквизитора с

Христом, который на самом деле монолог инквизитора в форме диалога. Иван объясняет исповедь инквизитора тем: «Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.» (14, 228) Инквизитор ссылается на евангельский рассказ об искушении Христа в пустыне и трех соблазнах, представленных ему дьяволом. Он упрекает Христа в том, что он противостоял искушениям злой силы, тем самым взвалив человеку на плечи непосильную тяжесть и упустив возможность для разрешения «исторических противоречий человеческой природы на всей земле». (14, 230)

На этом месте нашего анализа мы считаем необходимым сделать такое – надеемся, только на первый взгляд – отступление, которое по нашим надеждам облегчает правильное толкование идей великого инквизитора. В аргументации инквизитора центральное место занимает евангельский рассказ об искушении Христа в пустыне. По нашему мнению, эта евангельская история – как между прочим преобладающее большинство историй евангелий – имеет свою ветхозаветную параллель. Мы желаем воспроизвести именно эту ветхозаветную историю, чтобы интерпретировать как можно точнее «Легенду о великом инквизиторе».

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою» (Бытие 2:7). Вначале для Адама поклонение Богу так само собой разумелось как дыхание, даже само дыхание* было поклонение Богу. Он вернул Господи то, что получил от Него. До грехопадения дух человека был чист, ведь единственным его источником был сам Бог. Человек был свободен, потому что он обладал духом Бога, а где Дух Господень, там и свобода. "И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; А от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь." (Бытие 2: 15-17)

Эти стихи указывают на ум и волю** человека. Человек знал

* Дух <--- греческая *пнеума*, еврейский *gûwach* ---> 'ветер' или 'дыхание'

** Неслучайно, что корень от слова 'вольность' ---> есть 'воля'.

свое призвание на земле, он знал, что в мире существует и зло, он знал также последствия соприкосновения со злым началом. Он сам должен был выбрать свой путь. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: (1.) *подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?*

И сказал жена змею: плоды с дерев мы можем есть, Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

(2.) И сказал змей жене: *нет, не умрёте;*

Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, (3.) и *вы будете, как боги, знающие добро и зло.*» (Бытие 3: 1–5) Значит Сатана подошёл к жене и он вселил в ней вредные мысли:

(1.) окрасил слово Бога

(2.) врал

(3.) пообещал людям власть

(А) «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи,

(Б) и что оно приятно для глаз

(В) и вожделенно, потому что даёт знание;» Бытие 3:6)

Не трудно заметить в этих стихах явную параллель в «тактике» искушающего духа, которой он воспользовался и по отношению к человеку (к первому Адаму) и по отношению к Богочеловеку, то есть Христу (ко второму Адаму).

Человек

Иисус Христос

(А) похоть плоти

- «Обрати их (камни – К. Ч.) в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои» (14, 230).

(Б) похоть очей

- «Сойди со креста и уверуем, что это ты». Ты не сошёл потому, что опять-таки не захотел поработить человека (ослепляющим глаза – К. Ч.) чудом...» (14, 233).

(В) жажда власти - Последним даром злой дух предложил (житейская гордость) Христу «взять от него меч кесаря и объявить (Христу - К. Ч.) лишь себя царём земным, царём единым» (14, 234).

Смотря на эту параллель само собой разумеется, что Иисусу Христу, то есть второму Адаму нужно было появиться на земле для того, чтобы исправить всё то, что было испорчено первым Адамом. За грех первого Адама земля стала проклятой, которое проклятие, коренящееся в грехе мог искупить только Сын Божий, пожертвовав себя на кресте. Совсем неслучайно, что Христу нужно было противостоять тем же самым искушениям, в которых пал человек. «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.» (1-ое Иоанна 3:8) Нужно было прозвучать правильным ответам на искушающие предложения Сатаны --- (А) «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (от Матфея 4:4) ---> «Я есть хлеб жизни» (от Иоанна 6:48); (Б) «не искушай Господа Бога твоего» (от Матфея 4:7) ---> «ибо мы ходим верою, а не видением» (2-е Коринфянам 5:7); (В) «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (от Матфея 4:10) ---> «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь» (2-е Коринфянам 10:4) --- чтобы снять Христу с Сатаны маску одобрителя жизни людей и разоблачить Сатану, показав его настоящую ложную сущность.

Из этого исходит, что великий инквизитор тем, что он обвиняет Христа в высказывании вышеупомянутых единственно правильных ответов вместо принятия предложений Сатаны и поступков по ним, действует против Христовой жертвы. Аргументация инквизитора свидетельствует о том, что взамен поступка Христа, то есть второго Адама, он и сейчас согласился бы с поступком первого Адама, который, как мы указали на это раньше, не противостоял искушениям дьявола. Но это привело к падению первого Адама и из за него земля стала проклятой. Это проклятие может быть превращено в благодать, грех первого Адама может быть искуплен только жертвой Христа, который - по отношению к первому Адаму, ставшему живой душой -, есть животворящий дух. Великий инквизитор тем, что он предпочитает совершению миссии Христа принятие искушений дьявола, занимает однозначную антихристовую позицию против Христа.

В дальнейшем в нашем анализе мы стараемся доказать антихристовую сущность великого инквизитора, обращая внимание при этом на такие категории как *свобода, ответственность и любовь*.

По нашему мнению, в центре мирозерцания Достоевского несомненно стоит *свобода* и проблема свободы достигает своего завершения в «Легенде». Великий инквизитор прежде всего упрекает Христа в том, что он отклонил предложения дьявола из-за «какого-то обета свободы» (14, 230), потому что он «не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной». (14, 233). По мнению инквизитора, «нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее» (14, 232), «нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается» (14, 232).

В связи с этой мыслью инквизитора стоит обратить внимание на то, что её генеалогию можно возвести к 1846-ому году, когда Достоевский написал свою повесть *Хозяйка*. В этой довольно неудачной литературной форме дано, с нашей точки зрения, очень важное психологическое заключение: "слабому человеку одному не сдержаться! Только дай ему всё, он сам же придёт, всё назад отдаст, дай ему полцарства земного в обладание, попробуй - ты думаешь что? Он тебе тут же в башмак тотчас спрячется, так умалится. Дай ему волюшку, слабому человеку, - сам её свяжет, назад принесёт. Глупому сердцу и воля не впрок! (1, 317) Мы отмечаем, что наша ссылка на повесть *Хозяйка* оправдывается только тем, что мы хотели указать на генеалогию упомянутой мысли инквизитора, но в нашей работе мы не ставили перед собой целью провести параллель и в ином аспекте между данными персонажами двух произведений.

На этом месте нашей работы, после постановки проблемы свободы, но ещё перед любой оценкой позиции великого инквизитора в связи с свободой, мы должны развёртывать своё истолкование свободы, чтобы определить ту идейную основу, с которой мы подходим к позиции инквизитора. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Бытие 2:7) Когда Бог сотворил человека по образу своему, он вдунул в него свой дух. Дух человека есть тот же самый дух, как дух Бога. Это свидетельствует о свободе сотворённого человека, ибо «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». (2-е Коринфянам 3:17) Само собой разумеется, что свобода

сотворённого человека обозначала свободу от греха. Бог был для человека единственный источник. Что он мог черпать из своего источника была свобода и жизнь. Тот факт, что человек мог не соблюдать Божьи повеления и мог принять обольщения змея, свидетельствует о том, что человек кроме обладания свободой от греха имел и свободу выбора. При сотворении человек знал своё призвание на земле. Он не знал зла самого, но был в сознании того, что в мире существует зло, знал же последствия соприкосновения со злым началом. Он сам должен был выбрать свой путь. После грехопадения духовная общность человека с Богом прекратилась, вошедший в дух человека грех отделил человека от Бога, ибо грех несовместим с Божьей натурой. Дух людей потемнел от греха и этим самым, конечно, прекратилась и свобода безгрешности для них. Но тем, что грех вклинился между Богом и человеком, прекратилась и свобода выбора, потому что человек, отделившийся из-за греха от Бога, не мог попадать в общность с ним, не был в праве выбрать Бога. Человек, ставший живой душой от своеобразного сочетания мёртвой материи и оживляющего Духа Бога, после грехопадения в духовном смысле умер. Но Сатана не мог стереть в человеке жажду жизни, общности с Богом-Отцом и любви к нему. Совесть человека есть часть его духа, которая свидетельствует о грехе, не давая человеку покоя. От грехопадения обоюдная связь между Богом и человеком прекратилась. До грехопадения человек мог обратиться к Богу в любое время, он мог разговаривать с Богом, но после грехопадения связь между Богом и человеком могла осуществиться только по воле Бога. То, что вопреки заражённому грехом духу человека, Бог всё таки давал о себе откровения, свидетельствует о предварительной милости и не прекращающейся любви Бога к людям (Ной, Авраам, Моисей, пророки). Бог и после грехопадения показал своему народу путь к святости, не давши ему заблудиться. В своих заповедях Бог дал своему народу не какой-то внешний закон, «ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека; Но весьма близко к тебе слово сие; оно в устах твоих и в сердце твоём, чтоб исполнять его.» (Второзаконие 30:11,14) Из этого выясняется, что если в период после грехопадения до жертвы Христа мы можем говорить о свободе выбора (выше мы установили, что в своей чистой форме она прекратилась), это может быть только ограниченная свобода выбора. Человек мог выбрать между исполнением заповедей Бога и заблуждением, то есть мог выбрать между добром и злом, но не мог выбрать самого Бога,

не мог вернуться в общность с Богом. Человек мог жить нравственной жизнью, но не мог узнать свободу от греха, ведь ограниченная свобода выбора, которая исключила общность с Богом, не могла привести к свободе безгрешности. С этим связано и то, что и послушавшиеся заповедей Бога люди умерли только в надежде того, что Мессия – о ком они слышали всё более точные пророчества – не оставит их души в аду и не даст своему святому увидеть тления. Это однозначно исходит из того, что после грехопадения вечная жизнь была заменена смертью, ибо возмездие за грех – смерть. Только безгрешное существо могло восстановить испорченную грехом гармонию между Богом и человеком. Поэтому прислал Бог на землю Сына своего, кто имеет духовную сущность, но из любви к людям он воплотился, ибо Бог сделал его, незнавшего греха, жертвой за грех для нас, чтобы мы в нём сделали праведными перед Богом. Иисус Христос, жертвовав самого себя на кресте, вернул человеку настоящую, грехом больше не ограниченную свободу выбора. Человек через веру в искупительную жертву Христа может вернуться в общность с Богом и может испытать свободу от греха. В Христе совершилась та жертва, в которой были побеждены грех и смерть. «Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни» (К Римлянам 5:18). Христос вернул человеку свободу, которая для неверующих реализуется как свобода выбора между Богом (через веру в Христа) и Сатаной, а для верующих жертва Христа открыла свободу безгрешности, «потому что закон духа во Христе Иисусе освободил их от закона греха и смерти» (К Римлянам 8:2). Но и верующие могут сохранить эту свободу от греха лишь постоянным правильным выбором между духом и плотью, в котором процессе происходит очищение души человека, которая, как мы уже указали на это, есть своеобразное сочетание между духом и плотью. Христос совершил то, что смогло совершить только безгрешное духовное существо, он оживил дух человека, но в очищении души Христос сделал человека своим соратником. К очищению же плоти, взятой из мертвой материи, плоти нужно умереть, чтобы смогла воскреснуть, как и самому Христу, воплощённому Божеству надо было пройти смерть, чтобы Он смог преобразиться в плоти. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода.» (от Иоанна 12:24) В душе Алёши также только после слепой темноты засиял свет, правда Воскресенья раскрылась перед ним только после испытания горечи «торжествующей» смерти и тления (глава «Кана Галилейская»).

К завершению нашего истолкования свободы, желаем подчеркнуть, что акт веры и акт свободы неразделимы друг от друга и они взаимно предполагают друг друга. Только выбор свободы может привести к свободной вере в Христа, провозглашённой и им самим. В то же время Божьего Сына нужно было распять подлунным силам, чтобы была освящена свобода духа человека – свобода от греха. Славное Воскресенье Распявшего доступно только верующим, для людей без веры это лишь осрамление и смерть.

Тем, что великий инквизитор, приняв три искушения, отказывается от свободы – отрицает духовную сущность человека и отдаёт его на унижающее рабство «хлеба» и «чуда». Но не свободен и сам великий инквизитор, ибо он в рабстве «власти». Неслучайно, его система может привести только к «безграничному деспотизму» (10, 312). Это нечто другое, как сознательное приведение человека к более низкому статусу, понижение и утишение человеческой природы. Кроме «Легенды» этот же теоретический тезис торжествует и в «шигалёвщине», в котором предлагается из девяти десятых человечества создать новую породу людей, превращённых в «счастливых», мирно и радостно дебилизированных рабов: «Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать» (10, 312). Инквизитор «Легенды» также разделяет людей на немногих избранных водителей человеческого стада и большинство с тем же радикально сниженным уровнем личности, обретшие «тихое смиренное счастье, счастье слабосильных существ...», соединённые «наконец... в бесспорный и согласный муравейник» (14, 235)

Здесь мы отмечаем, что образ муравейника возникал уже и в рассуждениях подпольного человека в *Записках из подполья* как один из трёх возможных путей общего устройства: муравейник, курятник ---> капитальный дом, Хрустальный дворец. Надо подчеркнуть, что у парадоксалиста образ муравейника только возникал, но развит не был, вопреки тому, что идея уже была ясна. Муравейник – это в своём роде идеал наиболее органически-естественного устройства человечества, так сказать по инстинктивному, а потому и безошибочно – автоматически действующему типу. Эту идею развивает и Шигалёв и великий инквизитор, сознательно культивируя такую «примитивно-райскую», без сознания добра и зла, «муравейную» породу людей. Великого инквизитора разоблачает его собственная система. Он обвиняет Христа в аристократизме,

хотя Христова жертва совершилась для всех, не взиравши на лица. Именно в системе инквизитора разделены люди на сильных и слабых; это разделение необходимо ведёт к деспотизму немногих избранных водителей. Разоблачением великого инквизитора Достоевский протестует против всякой вынужденной <---> «гармонии», пусть это будет католическая, теократическая или же социалистическая.

С темой свободы тесно связана проблема *ответственности*. Великий инквизитор бунтует против миропорядка Бога из-за существующего в этом миропорядке зла, которое реализуется в страданиях людей. Инквизитор обвиняет Бога за зло, и за то, что он возложил на человека невыносимое бремя свободы и ответственности. Из такого обвинения инквизитора выясняется бунт «Эвклидова ума», пытающегося построить лучший миропорядок, чем созданный Богом. «Эвклидов ум» противопоставляет человеческим страданиям счастье, этим самым противопоставляя счастье свободе. Великий инквизитор хочет избавить большинство людей «от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного и все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими» (14, 236). Великий инквизитор свалит ответственность за зло – за муки человеческие – на Бога, этим самым подвергая сомнению существование самого Бога, ведь предполагает злого Бога, хотя зло несовместимо с Божьей натурой. Но если мы проходим процесс со сотворения человека до грехопадения, который прошли в связи с свободой, однозначно выясняется, что за грех, за вход зла в жизнь человека может отвечать только сам человек, который, воспользовавшись свободой выбора, открыл дверь злу, хотя Бог предупредил человека о последствиях соприкосновения со злым началом. «Это – ответственность избирающего: бог неотвествен»². Великий инквизитор обещает людям счастье вместо страданий, без свободы. Это крайне безответственное обещание свидетельствует о границах «Эвклидова ума», который не в силах узнать настоящую природу человека. Человек от своей природы не может быть счастливым без свободы. Поэтому мы не принимаем того утверждения Николая Бердяева – впрочем соглашаясь с большинством его мыслей –, по которому: «Перед человеком ставится дилемма – свобода или счастье, благополучие и устройство жизни, свобода с страданием или счастье без свободы.»³ Великий инквизитор может удовлетворить похоти плоти, но это только кажущееся счастье. Инквизитор отвергает духовную природу человека и сам хочет управлять его совестью, но при этом он не считается с тем,

что дух и совесть не подвластны уму. Грешный человек не может быть счастливым, потому что грех постоянно даёт о себе знать через совесть, ибо грех не соответствует Божьей духовной природе человека. Счастливым может быть только человек, свободный от греха. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьём духе нет лукавства!» (Псалтирь 31:2).

Инквизитор оправдывает свою измену Христу любовью к людям. Против Христа, возложившего на человека невыносимое бремя свободы и ответственности, он хочет любить и осчастливить людей. Но как человеческое счастье невозможно без Бога, так же безбожная любовь к людям может привести лишь к ложной сострадательности, к ложному гуманизму. Восстание против Бога во имя любви к человеку не может быть оправдано, ибо человек может любить другого человека только потому, что оба они сотворены по Божьему образу. С потерей веры в Бога непременно должна иссякнуть и любовь к человеку, ибо «Бог есть любовь» (1-е Иоанна 4:8). Это подкрепляют и слова Ивана: «На всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных... если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в своё бессмертие...» (14, 64). У неверующего в Бога инквизитора нет и не может быть веры в человека, которого он считает малосильным, ничтожным и подлым. Разоблачение инквизитора показывает, что провозглашенная им любовь только маска. Маска уже и семантически связана с маскировкой в смысле сокрытия себя. Маска инквизитора скрывает одну тайну, в которой он сам признаётся перед Христом: «... мы не с тобой, а с ним (с искусителем – К. Ч.), вот наша тайна!» (14, 234). Великий инквизитор сам раскрывает свою антихристовую сущность. «Антихрист – лже-Христос, а не анти-Христос»⁴. Обольщение антихриста в том, что он не выступает открыто против Христа, даже выдаёт себя за продолжителя Христова дела. Но как дерево можно узнать по его плодам (от Матфея 7:16), антихрист также разоблачается по плодам своих поступков. Всё, что добро, у него превращается в своё противоположное качество, ведь он может дать только свою сущность – зло. В системе великого инквизитора свобода превращается в рабство, счастье – в несчастье, любовь – в ненависть. Цель антихриста именно в том, чтобы мир перепутал его с Христом. Поэтому он представляет себя в образе добра, но его ложная суть остаётся.

Это истолкование привело нас к ницшеанской философии, которая – кроме однозначной её параллели с системой великого инквизитора – интересна нам и для того, чтобы указать на удивительные сходства между индивидуалистической ницшеанской философией и философией Гегеля, ссылающегося на духовную основу коллектива людей.

В индивидуалистическом бунте Ницше легко заметить его безбожный идеал. Он сам провозглашает примат принципа индивидуализации против христианского равенства. Люди у него фатально разделяются на два разряда: на касту господ и на касту рабов. Первые есть сильные люди, которые способны переоценивать все ценности, которые не нуждаются в чужой помощи, в Боге. Они доблестны – истина и добро присущи им. Они призваны повелевать и творить. Этот идеал воплощается в образе сверхчеловека, которому всё дозволено. Он носит в себе цель и смысл истории. Первой касте противопоставляется каста рабов – слабые люди, у которых не хватает жизненной энергии. Они ищут покоя, добра, Бога. Они должны повиноваться первой касте.

Гегель тоже разделяет людей на два разряда: индивиды мировой истории и индивиды, несущие порядок. «... индивиды мировой истории – это те, которые постигают всеобщность и претворяют её в свою цель; осуществляют ту цель, которая соответствует высшему понятию духа. ... право на их стороне, потому что они те, кто постигает сущность: они знают то, что есть истина их мира и их эпохи... В их мире они те, кто глубже всех постигает истину и лучше всех знает, о чём идёт речь; и всё, что они совершают – это правомерно. А остальные по необходимости подчиняются им, потому что, чувствуют это ... и у них есть власть в мире и право на их стороне лишь потому, что они таковы, что их цель соответствует цели духа самого в себе. Но это право есть право совсем особого характера... Эти индивиды удовлетворяют прежде всего самих себя; и не для того они действуют, чтобы удовлетворить других. Если бы они этого желали, то у них было бы много дел; ибо остальные не знают, чего хочет эпоха, и даже не знают того, чего они сами желают. Но противоречить этим индивидам мировой истории дело неосуществимое. Ими управляет непреодолимая⁵ сила, которая стремится реализовать их творение».

Разделение Гегеля оправдывается тем, что он не только разделяет людей, но и связывает их в Абсолюте. Без этого ссылания вышеупомянутая гегелевская система ни в чём не отличается от ницшеанской, или же от разоблаченной системы

инквизитора. Но если обращаем внимание на то, что гегелевский мировой дух "питает" своих избранников (в ряду которых мы находим Цезаря, Александра Великого, Наполеона) правом, силой и властью, выясняется что мировой дух Гегеля действительно дух «князя мира сего», оперирующего третьим искушением, властью. Так ссылка на связывание человечества в Абсолюте такой же самообман, какой был бунт великого инквизитора против Бога из-за любви к людям.

«Легенда» есть исповедь инквизитора, такой псевдиолог, в котором Христос с начала до конца молчит. Инквизитор ещё в начале «разговора» сказал Христу: «Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде». (14, 228) Христос на самом деле не права не имеет, а не нуждается в прибавлении, потому что искупление сделано его жертвой. Он сам, кто есть «Путь, Истина и Жизнь» (от Иоанна 14:6) – ответ на всю аргументацию инквизитора. Поцелуй Христа не оправдывает инквизитора и не одобряет его поступков, в нём выражается любовь Христа не к греху, а к человеку грешному, ибо сам Христос, «подобно нам, искушен во всём, кроме греха». (к Евреям 4:15)

Этот акт поцелуя поневоле напоминает ту сцену в которой Зосима благословляет Ивана и опускается на колени перед Дмитрием. Эти жесты оправданы в поучениях Зосимы: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле» (14,289). Эти слова и жесты, как и поцелуй Христа, свидетельствуют о сострадающей страданиям грешников любви, но они никогда не направлены по адресу греха. Христос через самого себя показывает путь к истине, и истина делает человека свободным.

«Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула...» (14, 237) – сказал Алёша Ивану. Это отвечает и тем, которые рассуждение инквизитора отождествляют с позицией Достоевского.

Ссылки даются в тексте с указанием соответствующего тома и страницы Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского; тт. 1-30. Ленинград, 1972-1990.

Библейские цитаты даны из перепечатанных с Синдального издания канонических книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета; Москва

¹ Цитата взята из стихотворения **Ф. И. Тютчева**: Умом Россию не понять 1866. in: Ф. И. Тютчев: Лирика. Издательство "Наука". Москва, 1965.

² **Platon**: Az állam. (Πολιτεία) Gondolat Kiadó, Budapest, 1989. 402. "Az a felelős, aki választ: az Isten nem felelős." (szabad fordítás) Αιτια ελομενου θεος αναινιος

³ **Николай Бердяев**: Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. стр. 197.

⁴ **К. Мочульский**: Достоевский. Жизнь и творчество; Paris, YMCA-PRESS, 1980. стр. 510.

⁵ **Fr. Hegel**: Előadások a világtörténet filozófiájáról. (Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte) Akadémiaia Kiadó, Budapest, 1966. 70-72.

világtörténeti egyének és fenntartó egyének. "...világtörténeti egyének azok, akik ... a magasabb általánost megragadják és céljukká teszik; megvalósítják azt a célt, amely megfelel a szellem magasabb fogalmának. ... a jog az ő oldalukon van, mert ők a belátók: ők tudják, mi a világuknak, koruknak igazsága... Világukban ők a legbelátóbbak, s legjobban tudják, miről van szó; s amit tesznek, helyes. A többiek szükségképp engedelmeskednek nekik, mert érzik azt. ... hatalmuk van a világban, és csak mert olyanok, hogy céljuk megfelel az önmagában való szellem céljának, azért az ő oldalukon van a jog, de egészen sajátos természetű jog...

Ezek az egyének mindenekelőtt önmagukat elégítik ki; nem is azért cselekszenek, hogy kielgítsenek másokat. Ha azt akarnák, sok tennivalójuk volna; mert a többiek nem tudják, mit akar a kor, sem azt, mit akarnak maguk. De ellenkezni azokkal a világtörténeti egyénekkal, tehetetlen vállalkozás. Ellenállhatatlan erő hajtja őket művük véghezvitelére."⁵

(szabad fordítás)

Литература

- Николай Бердяев:** Миросозерцание Достоевского; Прага, 1923.
- К. Мочульский:** Достоевский. Жизнь и творчество; Paris, YMCA-PRESS, 1980.
- В. В. Розанов:** Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского in: В. В. Розанов: Несовместимые контрасты жития; Москва, 1990.
- Светлана Семенова:** Преодоление трагедии. "Вечные вопросы" в литературе; Москва, Советский писатель, 1989.
- Владимир Соловьев:** Три речи в память Достоевского in: В. С. Соловьёв: Избранное; Москва, "Советская Россия", 1990.
- Лев Шестов:** Достоевский и Нитше (Философия трагедии); С.-Петербург, 1903.
- Fr. Hegel:** Előadások a világtörténet filozófiájáról; (Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966.
- D. H. Lawrence:** The Grand Inquisitor in: D. H. Lawrence: Selected Literary Criticism, ed. Anthony Beal, London, 1955.
- Fr. Nietzsche:** A tragédia születése (Die Geburt der Tragödie), Európa K., Budapest 1986.
- Im-igyen szóla Zarathustra (Also sprach Zarathustra) Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1908.
- Platon:** Az állam (Πολιτεία); Gondolat Kiadó, Budapest, 1989.
- Szent Ágoston:** A boldog életről (О частливой жизни)
A szabad akaratról (О свободной воле); Európa Könyvkiadó, 1989.

**Русский исторический роман второй половины
XIX века
(к постановке проблемы)**

Л. МИКРУТ

Уже 150 лет очень актуально звучат слова великого русского критика Виссариона Белинского (1811-1848): «Век наш - по преимуществу, исторический век. Историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло собою все сферы общественного сознания. История сделалась теперь как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания: без нее стало невозможно постижение ни искусства, ни философии. Мало того, само искусство теперь сделалось по преимуществу историческим»¹. Доказательством этого факта служит исторический роман - искусственный мир, который помещен в какое-то пространство и в какое-то прошлое². Этот жанр восстанавливает неразрывную связь времен, поколений, расширяет горизонты и укрепляет масштабы художественной мысли о современном мире. Исторический роман проявляет стремление к целостному, синтезированному восприятию эпохи в нерасторжимой преемственности для нынешнего³ и минувшего. Он - как доказывает современный исследователь³ - выделяет в истории те ведущие, направляющие тенденции, которые, пробивая себе дорогу в прошлом, работали на настоящее. Историческая проза является выражением национального самосознания народа, стремящегося определить свое место в

движении мировой истории.

Понятие исторического романа менялось. Разработка его теории началась уже в период осмысления новаторства шотландского писателя Вальтера Скотта (1771–1832). Она складывалась в борьбе романтической эстетики с классицизмом за соединение исторической науки и искусства, в ходе полемики реалистической критики с позитивистами о роли и значении историко-художественной литературы⁴.

Изучение исторического романа остается актуальной проблемой современного литературоведения. В настоящее время, в эпоху грандиозных исторических преобразований вопросы истории и ее отражения в романе встают особенно остро перед писателем и историком литературы. Исследователи по сегодняшний день не знают чему отдать предпочтение в исследованиях над историческим романом. Они видят отсутствие определенных граней между вымыслом и реальностью в ткани самого исторического повествования. Не знают какой признак считать доминирующим: глубину ли и точность в обрисовке достоверных фактов или свободу творческого воображения, постигающего дух прошлого в вымышленных образах⁵. При рассмотрении исторического жанра надо принимать во внимание, в первую очередь, связь сюжета и жанра, выбор конфликта и его художественное воплощение, мировоззрение писателя и ряд других элементов. Надо учитывать не только то что имеет отношение к материалу изображений, но и обстоятельства, связанные с методом его подачи.

Современный исследователь доказывает, что «Исторический роман – синтез двух противоположных способов осмысления жизни: история трактуется со свободой вымысла⁶, и вымысел получает у читателя ценность подлинного факта». Читатели любят исторические романы – они ищут в них развлечения, заинтересованы в репродукции прошлого, любят аналогии, философствуют по поводу истории. Самый лучший роман – есть синтез этих двух целей. Это самое универсальное из средств исторического познания мира.

Исследование жанра исторического романа, занимающего столь заметное место в русской литературе, невозможно без рассмотрения проблем его развития в историческом аспекте. Ученые неоднократно доказывали, что потребность в историческом жанре возникает в эпоху больших переломов. Так в России она появилась после победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. В связи с тем особый интерес представляет изучение русского исторического романа XIX века – эпохи расцвета русского романа. Главное внимание

специалистов, однако, было до сих пор сосредоточено на таких вершинах жанра, как Пушкин, Тургенев, Толстой, а по своим рядовым линиям он все еще остается недостаточно изученным.

Существует немало работ, посвященных русскому историческому роману 30-х годов, но вопрос о дальнейших путях его развития вплоть до конца XIX века, не получил до сих пор научного освещения⁸. Совершенно неизученной остается и поныне такая обширная область жанра, как историческая беллетристика 70-80-х годов XIX века, что связано с традиционно установившимся мнением об общем упадке и вырождении исторического романа во второй половине XIX века. Уже известный критик Дмитрий Писарев (1840-1868) утверждал, что нередко этот жанр представляет собой «(...) те сшивки из реляций, мемуаров, дипломатических нот, мирных договоров и разных других исторических документов, которые также называются обыкновенно историческими романами и составляют в большей части случаев один из самых бесплодных и непривлекательных родов литературы»⁹. Такое же мнение высказал и современный исследователь, утверждая, что рассматриваемый нами жанр - это «(...) литературная спекуляция на интересе читателя к историческому прошлому. Изучение этой продукции не представляет никакого ни историко-литературного, ни художественно-практического интереса»¹⁰.

Имеющиеся суммарные, чаще всего отрицательно-пренебрежительные, суждения об историческом романе этого времени как сплошном засилье развлекательного чтения, адресованного обывательско-мещанским кругам, не исчерпывают вопроса. Неисследованность и неразработанность проблемы вызвала досадный пробел в таких изданиях, как академическая десяти томная «История русской литературы» и двухтомная «История русского романа», в которых отсутствуют главы и разделы, посвященные этой обширной отрасли беллетристики, в продолжение 70-80-х годов значительно превышающей в количественном отношении все прочие.

Перед исследователем, обращающимся к этому периоду в истории жанра, неизбежно встает вопрос о причинах возникновения такого массового явления, как историческая романистика 70-80-х годов. Естественным следствием подъема национального самосознания русского народа, вызванного ростом общественного движения в 60-е годы, являлся всеобщий интерес к вопросам истории, который не ослабевает на протяжении двух последующих десятилетий. Поиски ответов на многочисленные вопросы экономического, политического,

религиозного, морально-этического характера привели к необходимости осознания и обобщения опыта национально-исторического прошлого. Это явление правильно охарактеризовал известный критик Николай Добролюбов (1836-1861), замечая, что «(...) исторический роман является в то время, когда народное сознание обращается к воспоминанию прошедшей своей жизни – под влиянием того же направления, при котором развиваются и сами исторические исследования»¹¹.

Исследователи, занимающиеся изучением исторического романа, как правило, обходят вопрос об отношениях исторической науки и художественно-исторической литературы. Недостаточно еще выяснен вопрос о многостороннем влиянии «Истории государства Российского»¹² Николая Карамзина (1766-1826) на исторический роман 30-х годов. Нельзя ставить в прямую зависимость от успехов исторической науки состояние жанра в тот или иной период, нельзя также считать, что исторический роман вырастает непосредственно из историографии, так как главным стимулом его создания являются требования современной писателю жизни. Но вместе с тем необходимо учитывать, что возрождению к новой жизни исторического романа во второй половине XIX века предшествовала основательная разработка вопросов истории.

Говоря об историческом романе 70-80-х годов, надо принимать во внимание и вопрос о той роли, которую играла русская историография в подготовке почвы для него и его популяризации. Под этим понятием подразумевается не только распространение исторических идей и их влияние на романистов, но также и систематическая разработка ранее уже изучавшихся периодов русской истории.

Особая заслуга в разработке архивных материалов XVII-XVIII веков принадлежит русскому историку государственной школы Сергею Соловьеву (1820-1879) – автору трудов по истории Новгорода, эпох Петра I и Александра I, нынешней политике России. Последние тома его монументальной «Истории России с древнейших времен» (1851-1879) способствовали открытию историческим романом 70-80-х годов новых тематических пластов, в отличие от тематики этого жанра в 30-х годах. Важная особенность русской историографии 70-80-х годов, которая определенным образом оказалась на развитии исторического романа этого периода, состоит в том, что идейно ограниченная, она развивалась не «вглубь», а «вширь»; для нее характерно не столько развитие исторической мысли, сколько распространение исторических знаний, накопление значительного исторического материала¹³.

Важным элементом распространения исторических знаний явилось их проникновение в обиход культурной жизни общества и последовательное появление в 60–80-е годы целого ряда журналов и сборников, посвященных публикации исторических документов и материалов. Читающая публика получила возможность знакомиться с исследованиями многих выдающихся историков на страницах популярных журналов, таких, например, как: продолжавшие традиции Пушкинского «Современника» (1836–1846, 1847–1866) «Отечественные записки» (1839–1884), московская научно-литературная и политическая «Русская мысль» (1880–1919), петербургская «Русская старина» (1870–1918) и московский «Русский архив» (1863–1917), печатавшие документы, мемуары, письма и другие материалы по истории и культуре России XVIII–XIX веков. Документы государственных учреждений, церковных и монастырских архивов, литературные памятники издавались в монументальной серии «Русская историческая библиотека» (1872–1927). Большой популярностью пользовались также «Сборники Русского исторического общества» (1867–1916), содержавшие богатый исторический материал с конца XV и до начала XIX века, «Древняя и новая Россия» (1875–1881), а также печатавший статьи, документы, материалы по русской истории и историческую беллетристику «Исторический вестник» (1880–1917).

В этих и в других периодиках систематически стали появляться статьи известных русских историков – Сергея Соловьева, Николая Костомарова (1817–1885), Константина Бестужева-Рюмина (1829–1897) и многих других. В силу специфики журнальной публикации все эти ученые нередко были вынуждены отказаться от обширных монографий и обратиться к другим формам изложения – популярному очерку и краткой журнальной статье. Это в свою очередь способствовало тому, что исторические знания перестали быть достоянием только специалистов и широкие круги читателей получили возможность знакомиться с новейшими достижениями в области исторической науки.

В перечисленных выше изданиях наряду со статьями и исследованиями по русской истории, истории русской литературы и искусства публиковались и находившиеся ранее под цензурным запретом официальные документы и архивные материалы главным образом XVIII–XIX веков. Эти публикации должны были удовлетворить все возраставшие потребности русского общества в исторических сведениях.

Кроме того, распространение исторических знаний через

периодические издания привило русскому читателю вкус к чтению исторической литературы и подготовило почву для широкого успеха у читающей публики художественно-исторической литературы. В таких исторических журналах, как «Русский архив» и «Русская старина» печатались главным образом источники с преобладанием мемуаров и материалов частных архивов. Причем, если в «Русском архиве» доминировала официальная тематика – вопросы политической истории XVIII–XIX веков, «Русская старина» отводила главное место вопросам общественного движения, в частности здесь впервые появилась значительная часть мемуаров декабристов. Совсем другое направление имел журнал «Исторический вестник», в котором сотрудничали видные историки: Сергей Шубинский (1834–1913) – редактор журнала, Николай Костомаров, Дмитрий Иловайский (1832–1920), Дмитрий Корсаков (1834–1919). В многочисленных исторических сочинениях, печатавшихся в журнале, история часто представляла в полубеллетристическом виде, а в произведениях сотрудничавших в «Историческом вестнике» Даниила Мордовцева (1830–1905), Григория Данилевского (1829–1890), Евгения Салиаса (1840–1908)¹⁴ совершала непосредственный переход к исторической повести и роману. Также и в других журналах, где появлялись произведения Михаила Филиппова (1858–1903), Николая Костомарова, Всеволода Соловьева, Александра Милюкова (1817–1897), Евгения Карновича, Александра Шардина (П. Сухонин)¹⁵ и многих других можно легко заметить это направление.

Нельзя не обратить внимания на такое характерное для этого времени явление в русской историографии, как появление беллетризованных монографий, которые живописным стилем и психологизмом напоминают «Историю государства Российского» Карамзина. Эти черты наиболее ярко видны у Костомарова («Богдан Хмельницкий и возвращение южной Руси к России», 1857; «Бунт Стеньки Разина», 1858) и Бестужева-Рюмина. Их произведения часто представляют собой как бы переходную ступень от научного сочинения к историческому роману и оказали определенное воздействие на исторический роман 70–80-х годов.

Таким образом новая полоса в развитии исторического романа, наступившая в 70–80-е годы, была закономерна и объективно обусловлена теми же историческими и литературными условиями, которые вызвали к жизни эпопею Льва Толстого «Война и мир» (1865–1869). Но в силу ряда специфических особенностей, присущих общественному движению, истори-

ографии, литературному процессу 70–80-х годов, исторический роман этого периода приобрел такие черты, которые отличают его от исторического романа предыдущих эпох.

Открытие архивов и снятие цензурного запрета с исторических материалов и документов XVII–XVIII веков позволило говорить о таких фактах и событиях, которые прежде считались государственной тайной. Отсюда большое разнообразие тем и большая свобода в проведении тех или иных взглядов. Кроме того романисты этого периода отличались более основательным знанием исторического материала. Большинство из них занималось самостоятельными историческими изысканиями, а некоторые посвятили специальные работы малоизученным вопросам русской истории (Даниил Мордовцев, Евгений Карнович (1824–1885)). Необходимо также отметить такую очень характерную для исторических беллетристов того времени черту, как необычайная творческая плодовитость, что объяснялось, по видимому, возросшим спросом на художественную историческую литературу, связанным с появлением массового читателя в лице многочисленной армии разночинной интеллигенции. В то же время новый роман сохранял ряд черт, роднящих его с романом 30–40-х годов¹⁶ – это прежде всего тяготение к экстраординарным сюжетам и интригующим историческим деятелям, принесение в жертву историческому вымыслу и занимательности сюжета исторического правдоподобия, иногда также исторической достоверности, поверхностная и скороспелая обработка исторического материала, приводившая часто к нарушению естественного и органического слияния художественного вымысла и исторического факта, а также к нарушению пропорций между ними.

Непосредственным предшественником исторического романа рассматриваемого периода является «Война и мир» Льва Толстого, представляющая собой качественно новое явление в жанре. Это произведение не нашло значительного отклика в творчестве исторических романистов следующих десятилетий; Большинству из них оказались чужды основные идейно-художественные принципы Толстого. Несмотря на попытки подражать ему, они не смогли подняться до уровня художественных и исторических обобщений автора «Анны Каренины», ставшего преобразователем жанра и создавшего высочайший его образец. Однако для некоторых исторических романистов того времени (Данилевский, Салиас) характерна ориентация в известной степени на психологический роман, в частности на «Войну и мир».

Наиболее благотворное влияние Льва Толстого испытал Григорий Данилевский, Творчество которого представляет собой заметное явление в историческом романе второй половины XIX века и служит доказательством тому, что этот жанр не пришел в полный упадок после «Войны и мира», а продолжал развиваться в русле традиций реалистической литературы, обогащаясь историческими и художественными открытиями Льва Толстого¹⁷.

- ¹ В. Г. **Белинский**. Полное собрание сочинений в 30-ти томах, Москва 1955, т. 6, с. 90.
- ² Я. **Кросс**. Свобода вымысла и правда истории, (в:) «Литературная учеба» 1983, № 4, с. 164.
- ³ В. **Оскойкий**. Роман и история (Опыт сравнительно-типологического анализа) (в:) Пути и судьбы. Диалог братских литератур, Соква 1980, с. 155.
- ⁴ В. Ф. **Железнов**. Пробела жанра исторического романа в современном литературоведении. (в:) Проблемы поэтики, Алма-Ата 1980, с. 149-150.
- ⁵ И. П. **Щеблыкин**. О двух разновидностях исторического повествования. (в:) Проблемы жанрового многообразия русской литературы XIX века, Рязань 1976, с. 3.
- ⁶ Цитирую за: Я. **Кросс**, Свобода ..., с. 166.
- ⁷ Примером могут служить следующие заглавия: Л. П. **Александрова**. Особенности жанра русского исторического романа. Львов 1960; Н. **Ильинская**, У истоков русского исторического романа. (в:) «Нева» 1969, № 12; г. **Макаровская**. Типы исторического повествования. Москва 1972; В. **Нечаева**. Белинский и пробелма русского исторического романа. (в:) Белинский – историк и теоретик литературы, Москва – Ленинград 1949; В. Ф. **Переверзев**. Борьба за исторический роман в 30-е годы. (в:) «Литературная учеба» 1935, № 5; С. М. **Петров**. Исторический роман в русской литературе. Москва 1961; Ю. С. **Сорокин**. Исторический жанр в прозе 30-х годов XIX века. (в:) Доклады и сообщения филологического факультета МГУ, Москва 1947.

- ⁸ Исключение составляет роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир», которая изучалась во многих аспектах, в том числе и как исторический роман.
- ⁹ **Д. И. Писарев.** Собрание сочинений в 4-х томах, Москва 1956, т. IV, с. 400.
- ¹⁰ **С. М. Петров.** Русский исторический роман XIX века. Москва 1964, с. 437.
- ¹¹ **Н. А. Добролюбов.** Собрание сочинений в 9-ти томах, Москва-Ленинград 1961, т. I, с. 92.
- ¹² Об этом произведении смотри: **Л. Н. Лузянина.** Принципы художественного повествования в «Истории государства Российского» М. Н. Карамзина. (в:) История русской литературы под ред. Н. И. Пруцкова, Ленинград 1981, т. II, с. 80-87.
- ¹³ Смотри об этом: **Л. В. Черепин.** С. М. Соловьев как историк. (в:) **С. М. Соловьев.** История России с древнейших времен. Москва 1959, т. I, с. 19.
- ¹⁴ **Важнейшие исторические романы и повести:**
- а) **Д. И. Мордовцев:** Идеалисты и реалисты (1878), Двенадцатый год (1879), Лже-Дмитрий (1879), Царь и гетман (1880), Соловецкое сидение (1880), Великий раскол (1880): Господин Великий Новгород (1882), Сагайдачный (1882), Царь Петр и правительница София (1885), За чьи грехи (1890);
- б) **Г. П. Данилевский:** Мирович (1875), Потемкин на Дунае (1876), Последние Запорожцы (1877), На Индию при Петре I (1879), 1825 год (1881), Княжна Тараканова (1882), Сожженная Москва (1885), Черный год (1887), Царевич Алексей (1890);
- в) **Е. А. Салиаса:** Пугачевцы (1874), Братья Орловы (1878), Самокрутка (1885), Свадебный бунт (1886), Кудесник (1886), Камер-юнгфера (1888), Донские гишпанцы (1888), Философ (1891), Владимирские монахи (1899), Граф Тятин-Балтийский (1892).
- ¹⁵ **М. М. Филиппов** - Осажденный Севастополь (1888); **Н. И. Костомаров** - Кудеяр (1875), Сын (1865); **В. Соловьев** - Сергей Горбатов (1881), Вольтерянец (1882), Юный

император (1877), Жених царевны (1893); **А. П. Милков** - Царская невеста (1872), Царская свадьба (1873); **Е. П. Карнович** - Придворное кружево (1884); **А. Шардин (П. Сухонин)** - Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы (1885), На рубеже двух столетий (1887).

- ¹⁶ Некоторые исторические романисты того времени и их произведения: **А. С. Пушкин** - Капитанская дочка (1836); **М. Н. Загоскин** (1789-1852) - Юрий Милославский, или Русские в 1612 году (1829); **Ф. В. Булгарин** (1789-1859) - Дмитрий Самозванец (1830); **Н. А. Полевой** (1796-1846) - Клятва при гробе господнем (1832); **А. Ф. Вельтман** (1800-1870) - Кошей бессмертный (1833); **И. И. Лажечников** (1792-1869) - Последний Новик (1833); **Н. В. Гоголь** - Тарас Бульба (1835); **Р. М. Зотов** (1795-1871) - Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона (1832).
- ¹⁷ Об истории литературных отношений между Л. Н. Толстым и Г. П. Данилевским смотри статью: **L. Mikrut. Grzegorz Danilewski i Lew Tołstoj (Z historii kontaktów literackich)**, (in:) "Lubelskie Materiały Neofilologiczne - 1980", Lublin 1982, s. 77-91.

Шестов: Достоевский и Ницше

Л. ИМРЕ

Для нас уже давно знаком как факт истории философии, что вариант экзистенциализма по Камю обозначал вроде первого источника книгу Льва Шестова: *«Достоевский и Ницше. Философия трагедии»* от 1903-го года. От довольно многих (между прочим и текст на клапане суперобложки венгерского издания 1991-го года даёт нам представление о мнении Т. Манна и Ионеско) мы знаем и о том, что Шестов (и великие представители русской религиозной философии от Владимира Соловьёва до Бердяева) являются одними из самых оригинальных фигур мышления двадцатого века. После всего этого, наконец-то, может стать всенародным достоянием и на венгерском языке эта знаменитая-пресловутая книга. (Знаменитая – на основе выше упомянутых и ещё многих причин; пресловутая – что с самого начала обвиняли Шестова в том, что он своевольно, в соответствии со своими намерениями интерпретирует прежде всего Достоевского.) Отрадный факт появления книги может дать новые данные к опознанию, заставляющему нас задумываться. Вначале (в 50-е, 60-е годы) пришло к нам ценное и малоценное литератур на русском языке. Позже (в 70-е, 80-е годы) была передана нам действительно ценная русская культура, до Пастернака и сегодняшней эмигрантской русской литературы. После этого является невероятным, что ещё существуют такие области в русской литературе, культуре, которые знают в большей мере во

Франции или в США, чем у нас, где, по сути дела, принято было жаловаться на перевес русской ориентации.

Кроме выгодного приобретения научно-исторического рода получил венгерский читатель (благодаря успешному переводу Евы Паткоша) книгу Шестова как отличное чтение. Изложение Шестова является умным, ясным, страстным, с наглядным стилем, который пленяет своей юношеской охотой дискутировать, с комбатантной аргументацией, с простым и подвижным обоснованием. По всей вероятности вдохновляли и его любимые герои его «беллетристический», иногда даже «публицистический» стиль, ведь Достоевский не является в такой мере "философическим" писателем, как скажем Томас Манн, но и от Ницше довольно далеки отвлечённости философского профессионального языка. Этот остроумный стиль, который сохраняет иногда динамику личной охоты к дискуссии, имеет (конечно) и свои недостатки. Например тот факт, что его словоупотребление не соответствует однозначно традиционным философским понятиям.

Великие представители русской религиозной философии совершили действительно большой поворот в истории европейского мышления. "Проблемы личности с особой остротой были выдвинуты такими личностями 19-го века, как Достоевский, Кьеркегор, Ницше, Ибсен, которые бунтовали против власти «общего», против самодурствования рациональной философии" – пишет Бердяев в своей книге: *О рабстве и свободе человека*. Их познание имеет общий корень, ведь когда Бердяев говорит, что не личность является частью универсума, а универсум – часть личности, тогда это не является простым солипсизмом, а он формулировал познание, что аналогичное навязывание позитивистского материализма, то есть материалистических – логических закономерностей на все области жизни (между прочим и на дилеммы личности) не привело к результату в 19-ом веке. Шестов, до конца своей жизни (в своём сочинении «На весах Иова» тоже в 1929-ом году) делает вывод из Достоевского, что главным противником истины является ум. (Трудности Ивана Карамазова были тоже обострены тем, что закономерности ума не освобождали мысль.) Значит, он против гегелевской схемы: «Историческая философия Гегеля является грубым и опасным искажением жизни». (*Отважность и смиренность* – цитата из антологии под редакцией Эндре Тёрёка: *Эпоха расцвета русского богословия* 318.) Концепция личности Достоевского и Ницше исходит из литературы. Примеры *Предисловия* относятся к произведениям Лермонтова, Пушкина, Толстого, точнее к их прочим

проявлениям, к их отвращению к «анормальности». По мнению Шестова большое завоевание Достоевского (и Ницше) состоит в том, что он отвергает гносеологию и идеализм прежних эпох, он, по отношению к дидактическому attitude Толстого (и других), доходит до философии трагедии (перед которой они пасовали), и не боится ставить такие вопросы, на которые нельзя дать традиционного, примиряющего нравственного ответа.

Шестов во время написания этого своего произведения (в свои тридцать лет) ещё не был «профессиональным» философом, его исходная точка тоже была далека от традиционных областей философии, на это указывает то обстоятельство, что он приписывает большой мировоззренческий поворот Достоевского и Ницше к биографическим фактам. В случае Ницше это – как довольно общеизвестно – его неизлечимая болезнь, в случае Достоевского – каторжная работа. Но дело в том, что гипотеза Шестова уже в этом пункте не поддерживается фактами, ведь на жизненном пути Достоевского происходит поворот гораздо позже после его возвращения из каторги, из ссылки, написанием *Записок из подполья*. По всей вероятности является представлением Шестова «конструкцией», тем более, потому что в это время (как на это было указано многими) он ещё не знал биографию Достоевского, и не мог знать по-настоящему биографию Ницше, хотя он желает основываться.

Таким образом он вынужден часто прибегать к объяснениям, даже к оправданиям. Он вынужден останавливаться долгое время на вопросе, что, если каторга противопоставляет Достоевского своим прежним взглядам и Белинскому, почему после его возвращения возникло такое светлое произведение как *Село Степанчиково и его обитатели*, почему было написано его «шиллеровское» произведение *Униженные и оскорблённые*, и почему он защищает долгие года «западников», то есть лагерь в это время уже покойного Белинского. Разрыв с событиями молодости происходит в *Записках*, с этого времени – говорит Шестов – он отворачивается от «гуманизма» и неискренняя уступка по отношению к христианской этике и общему принципу любви – только создание князя Мышкина или Алёши Карамазова. Настоящее высказывание Достоевского о мире – беспощадная мораль Раскольникова и Ивана Карамазова, внутреннюю логику которой признавал и Толстой, но он изображал в своих романах преодоление нигилизма. (В эпилоге *Войны и мира* он предпочитал уверенность в жизни Николая Ростова в ущерб сомнений и критической концепции Пьера Безухова.) Шестов

видит отчаянное усилие искания опоры и в том, что Толстой изображает Левина в его браке и в конечном счёте во всю его жизнь счастливым (это видимо раздражает Шестова), хотя это является абсурдом. Самооправдывающее утверждение жизни и морали Толстого (рассуждает Шестов) просто избегает конечных вопросов, как это делает и Кант, когда он направляет самые беспокоящие метафизические дилеммы в сферу непознаваемости. (Скептицизм и пессимизм отвергается Толстым кантовскими априорными суждениями, верой в добро: «добро – это сам бог».)

Преконцепциозный (начиная с первого появления по мнению многих произвольный) характер хода мыслей Шестова кульминирует на том месте, где он просто заявляет: Алёша Карамазов является выдумкой и Достоевский во глубине души признаёт правду Ивана. (Шестов должен был знать о том, что прототипом образа Алёши был Владимир Соловьёв, молодой «Христовый» член круга друзей Достоевского, более поздний значительный поэт и философ, с которым Шестов часто вступал в спор, но которого он высоко ценил.) По мнению Шестова Достоевский (хотя он в фигурах Алёши и Мышкина намечил такого рода идеализированные образы) не верит во всемогущество любви, а пришёл к более позднему (и в частности из чтения его романов почерпнутому «*Wille zur Macht*» Ницше. (Известно, что немножко подобным же образом уже современники обвиняли Достоевского в том, что он отождествляется со своими извращёнными, садистскими героями, даже потому, что он сам тоже в своей жизни совершил самые страшные преступления. В качестве доказательства они могли – как и Шестов – привести только героев романов.)

Ближе всех к правде пришёл, может быть, через четверть века выступивший Бахтин, который отрицал, что Достоевский отождествлялся бы полностью с любым своим героем, ведь его эпохальное нововведение заключается именно в его многоголосье, (полифонии), то есть в нерешённости, точнее, в неразрешимости его споров. Для нас теперь важно только то, что целый ряд утверждений Шестова является просто недоказанным (даже недоказуемым). Он и не приводит аргументов, которые доказали бы, что он имеет причину (и прежде всего право) к тому, чтобы он интерпретировал конечное идейное содержание романов, декларированное намерение автора противоположным образом. На одном месте он слышит в словах Достоевского «исторические, необыкновенно высокие голоса, противоестественное визжание», когда тот клянётся в традиционной морали, в доктрине любви и

сожаления. Конечно, Шестов имеет право утверждать, что он считает определённые аргументации Достоевского (или его героев) банальными утверждениями без внутренней достоверности, но его аргументация является больше чем субъективной: «Как только в речи Достоевского послышится истерика, необычайные высокие ноты, неестественный крик – вы с несомненностью можете заключить, что это начинается «примечание»... Такое отчаянное, захлебывающееся красноречие, может быть, и действует неотразимо на грубое ухо. Но более опытному слуху оно говорит о совсем ином». (22.)

Часто утверждённое возражение против Шестова, а именно, что он слишком свободно интерпретировал своих героев (Достоевского и Ницше) относится к тому, что он верит определённым высказываниям Достоевского, а другим нет. Немного иначе обстоит дело с Ницше, ведь его мысли, афоризмы всё-таки не являются разного рода интерпретациями судьбы героев романа. В связи с Ницше очень убедительно излагает Шестов, как он пришёл к абсолютной свободе, как он отвернулся от философии любви и сожаления Шопенгауера, от Вагнера, и от всякого рода «идеализма». Ницше, происходивший из евангелистской семьи, сделал крупные усилия, чтобы раствориться в любой альтруистической морали, но он не был способен к этому, ему препятствовало сознание, что его ожидает вследствие болезни презрение и уничтожение. Значит, эти главы монографии иллюстрируют непосредственно дилемму человека, который попал в состояние абсолютной свободы, но в остальных главах мы наталкиваемся на каждом шагу на интерпретационные проблемы. Однако, по видимому, Шестову не мешает, что цитированные им главы романов Достоевского могут быть объяснены и иначе, чем он это думает. Раскольников «Вот почему, как только он замечает у Сони Евангелие, он просит ее прочесть ему про воскресение Лазаря. Ни нагорная проповедь, ни притча о фарисе и мытаре, словом, ничего из того, что было переведено из Евангелия в современную этику, по толстовской формуле «добро, братская любовь – есть Бог», не интересует его». (123-124.) Значит, Шестов конструирует противоречие между конечными правдами Достоевского и Толстого (хотя, по мнению автора этих строк, такого рода антагонистического противоречия нет), однако эту сцену можно было бы интерпретировать достоверно и таким образом, что она – соответствие *Воскресения* Толстого: убийца Раскольников и проститутка Соня, которые испытывали на себе крайности преступления, соединяются в надежде их нравственного

возрождения, воскресения, и это символизируется историей Лазаря.

Довольно ошеломляющим образом проводит параллель Шестов между *Фаустом* и *Преступлением и наказанием*. (При этом он должен конечно – оставлять без внимания вторую часть *Фауста*. По его мнению, можно принимать Фауста, который вступил в союз с дьяволом, и соблазнил Маргариту, тоже только под знаком морали необыкновенного человека. Но дело в том, что Гёте уже в развязке первой части расценивает совсем по другому молодую судьбу Фауста: он считает его таким «блуждающим», которого ждёт особое небесное и земное (в действительности поэтическое) освобождение. Шестова можно упрекать в искажении представления и в других местах. Например, он должен был знать о том, что Достоевский негодовал на Некрасова не потому, что тот сочувствовал страдающим, но потому, что он думал, что подстрекающее к мятежу изображение страдания, которое происходит от существующих общественных и нравственных бед, обострение общественных противоречий влияет не в направлении безостаточного и конечного лечения бед и страданий, но оно ведёт с одной стороны к увеличению самодержавного террора, с другой стороны к огрубению анархистического-социалистического движения, и оно служит в конечном счёте, не решению проблем, но в лучшем случае содействию определённых стремлений к власти. Достоевский никогда не скрывал, что он видит в левых, социалистических и анархических стремлениях своей эпохи не только лишнее и бессмысленное, но вредное, и на длинной дистанции (в случае успеха) роковое опасное движение.

Однако ход мыслей Шестова является только произвольным, но не заведомо враждебно настроенным, и с этой точки зрения решающим является год возникновения: 1903, когда ещё не были предвидимы (или только в малой степени) катастрофические следствия принципа «достижения добра через зло». Но если бы мы принимали логику Шестова, и считали, что Достоевский согласен с Иваном Карамазовым (по логике которой мы имеем право, мы даже обязаны измучить невинного ребёнка, если этим мы содействуем конечному счастью человечества), Достоевский даже (по Шестову) согласен и с Раскольниковым (мы имеем право, даже обязаны хоть и путём убийства содействовать благу человечества), тогда мы пришли бы к такой, нравственные ограничения переступающей, доктринальной теории, по которой ради «святой цели», справедливого, счастливого будущего человечества любое средство позволено.

Это было любимой формулой уже якобинской диктатуры, катехизис сталинизма (Дьёрдь Лукач, может быть, сознательнее всех переживал это в 1919-ом году, и написал тоже, иллюстрируя дилеммой Хеббеля), и это было и самооправданием насильственной политики гитлеризма. Вопрос состоит не в том (что Шестов вследствие Ивана Карамазова обостряет), что делать при таком абсурдном противопоставлении, а в том (хоть и теоретически): можно ли, позволено ли стремиться к спасению человечества путём сознательно на себя взятой бесчеловечности. Ведь за «злодейством», которое считалось исключительным, единственным, затем следуют новые, и от почти героически принятого преступления происходит несколько десятилетий тянущаяся грубая, банальная, аморальная практика политической власти. Значит, речь идёт не только о том, что ни сталинизму, ни фашизму не удалось достичь добра через преступление, но это является и теоретически ошибочным, бесперспективным и аморальным начинанием. В частности потому, что никто и ничего не гарантирует, что за злодейством следует действительно благо человечества: карьеристы любой политической группировки могут заставить поверить в это и убеждать себя. Отчасти потому, что и вообще носит в себе собственное крушение такая позиция, которая учитывает человечество, но по отношению к отдельному человеку совершает злодейство, поступает во имя блага Человека, но убивает, мучает стоящего как раз поперёк дороги человека из плоти и крови, относится с восхищением к благу человечества, но она неспособна приносить жертву ради действительно существующих людей, она даже ненавидит и презирает их. Достоевский в самом деле переживал, обнаруживал эту ужасную возможность, но он не стал сторонником этого взгляда, как думает Шестов. В его произведениях мы имеем дело как раз с отрицанием этого, например в случае Раскольникова. Его эксперимент с самим собой не может быть успешным именно потому, что этот эксперимент является преступным и бессмысленным, и это всегда оправдывалось, что касается опыта достижения добра через зло; а потому, что последствием было только страдание и преступление, и это начинание не имело ни выигравшего, и никаких перспектив, то есть (и историей это пока оправдывалось) наступили втаптывание в грязь нравственных законов, бесчеловечность, но ожидаемое-обещанное «спасение», общее благо никогда не состоялось, оно осталось утопией.

Герои Чехова в зеркале их наименований

Й. ПАРОЦАН

"У великих писателей нет в книгах людей со случайным именем, – пишет В. Кречетов, – имена героев – это всегда ещё и философия изображаемой жизни, а не просто условное обозначение героя." (стр. 212.). Чем крупнейший мастер, тем тщательнее он подбирает имена своим героям. Справедливо пишет В. В. Виноградов: "Вопрос о подборе имён, фамилий, прозвищ в художественной литературе, о структурных их своеобразиях в разных жанрах и стилях, об их образных характеристических функциях и т. п. не может быть проиллюстрирован немногими примерами. Это очень большая и сложная тема стилистически художественной литературы." (стр. 38.).

Русские писатели именам своих героев уделяли особое внимание. В этом отношении весьма показательны Фонвизин, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Чехов. Среди них особое место занимает А. П. Чехов.

В раннем творчестве писатель допускал и необычные имена и отчества, типа прозвищ, напр.: *Одеколон*, *Шут*, *Панталонovich*, *Паникадилович*, *Сахар Медович*, *Кит Китыч*, *Шут Иванович*, *Яван Яванович*.

На характере новых имён отразилась и медицинская практика писателя. Названия целого ряда болезней стали собственными именами у Чехова: *Дифтерит*, *Дизентерия*, *Геморрой*, *Невралгия*, *Истерия*.

Эти необычные личные имена писатель сочетал с отчествами и фамилиями, которые своей структурой в контексте закрепляли новое собственное имя, напр.: *Дифтерит Александрович, Дизентерия Александровна, Одеколон Панталонович*.

Однако в творчестве Чехова количество новообразных личных имён, используемых как элемент внешнего комизма, незначительно в общей системе имён. Они служили целям художественной характеристики героев у Чехова. Как отмечают исследователи, такие имена, как *Шельмецов, Пустяков, Курягин, Ахинеев, Вонмигласов*, указывают на качества их носителей. Некоторыми именами даётся социальная характеристика персонажей: *Червяков, Гнусов, Понимаев, Чертолобов, Укусилов, Глоталов, Потрошилов, Штучкин, Мзда, Грязноруков* – чиновники; *Размахалов, Глоталов, Очумелов* – полицейские; *Крокодилов, Вывертов, Урчаев, Зюмбунчиков, Ребротёсов, Ревунов-Караулов* – военные; *Обалдаев, Безменов, Синерылов* – купцы; *Брама-Глинский, Фениксов-Дикобразов 2-й* – артисты; *Отлукавин, Вратоадов* – духовные лица. Знаменательные имена, фамилии: *Каструля, Розалия Осиповна Аромат*, регент церкви *Градусов, Гусыня, Утожный, Клятвин, Поганкин, Крышкин, Курицын* и другие. Эти имена помогают писателю обрисовать героев, указать на основное в их характере, иногда выявить своё отношение к персонажам.

Несмотря на то, что в художественной литературе основную характеризующую роль среди имён собственных выполняют фамилии и прозвища, в творчестве Чехова привлекает наше внимание и использование им имён.

В настоящей работе даётся также краткий обзор возможностей использования литературных имён на примерах, взятых из раннего творчества Чехова.

Социально-классовое использование имён в России уходит корнями в историческое прошлое, когда ещё не было фамилий, а форма имени зависела от положения, занимаемого человеком в обществе. "Так в отписках великому князю Ивану III знатные люди писались полными именами: *Василий, Алексей, Фёдор*; менее знатные – полуименами: *Васюк, Алексеец, Федорец*, а ещё менее значительные люди или "людишки" – уничижительными: *Васька, Алёшка, Федька*; а при Иване IV Грозном даже и знатные люди, в качестве царских холопов, стали писаться не только уменьшительными, но большею частью уничижительными именами" (Карнович 1886, 48.).

Следуя традициям, Чехов наделяет именными кличками своих героев, выходцев из народной среды: лакей *Мишка*, кучер

Филька, пастух *Филька*, лакей *Петька*, работник *Фомка*, огородник *Савка*, кучер *Васька*, казачок *Илюшка*, *Егорка*, *Петрушка* и т. п.

В России с социальным различием стали употребляться не только именные клички, но и полные христианские имена, что отразилось в художественной литературе XIX в. Нет сомнения, что Пушкин избрал имена дифференцирующие социально. Примечание самого Пушкина ко 2-ой главе "Евгения Онегина" показывает, как чуток он к социальной поляризации имён: "Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: *Агафон*, *Филат*, *Федор*, *Фекла* и проч., употребляются у нас только между простолюдными" (строфа XXIV).

Тургенев, в "Уездном лекаре" по поводу имени героя рассуждает: "Вздумалось ей спросить меня, как моё имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же насчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с, Трифоном, Трифоном Ивановичем. Дома меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: "Трифоном, сударыня". Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по французски, - ох, да недоброе что-то, - и засмеялась потом, нехорошо тоже" (стр. 31.).

В рассказе "По-американски" Чехов пишет: "Не называться Матрёной, Акулиной, Авдотьей и другими им подобными вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагороднее (напр., Олей, Леночкой, Маруськой, Катей, Липой и т. п.)" (I, стр. 52.)

В целом ряде ранних рассказов Чехов иронически изобразил стремление представителей высших сословий оградить себя от так называемых простых, вульгарных имён и противопоставить им "свои", часто западноевропейского происхождения имена. Напр.: "А знаете, как их зовут? Одну *Фанни*, другую *Изабеллой*... Европа! Ха-ха-ха... Запад!" (I, стр. 420.); "А какие чудные имена: *Бланш*, *Мими*, *Фанни*, *Эмма*, *Изабелла* и... ни одной *Матрёны*, *Мавры*, *Палагеи*!" (I, стр. 474.); "*Этьен*, - обращается она к приказчику". Крестьяне же называют его Степаном Ивановичем (IV, стр. 185).

Подобная тенденция приводила к употреблению вместо русских имён их иностранных эквивалентов, что также было пародировано Чеховым: "Кто научил его одеваться по моде, причёсываться, говорить Натали вместо Наташа?" (IV, стр. 471.); "Осенью зовёт меня к себе одна священникова дочка. - 'Найди, говорит мне, Мишель, жениха, чтоб был из писателей'" (III, стр. III.).

Основная масса чеховских рассказов наделена такими именами, как *Василий*, *Дмитрий*, *Петр*, *Никодим*, *Пахом*, *Сысой*,

Трифон и подобные. Представители среды в рассказах выступают обычно только под именами без отчеств и фамилий, напр.: кучер *Антип*, лакей *Гаврила*, сторож *Дорофей*, швейцар *Парамон*, сапожник *Терентий*, сторож *Василий*, швейцар *Михайло*, бабка *Анфиса* и т. п.

У служителей церкви в чеховских рассказах встречаются архаические имена, не получившие широкого распространения среди народа: монахи *Диодор*, *Диомид*, отец *Пафнутий*. В дореволюционной России ежегодные календари были снабжены алфавитными списками святых, которые и послужили источником для таких имён, как *Аввакум*, *Авиц*, *Африкан*, *Европий*, *Евтихий*, *Йоаким*, *Милито*, *Спевситий* и т. п., от которых Чехов образовывал и фамилии.

Для персонажей нерусских национальностей писатель подбирает имена и отчества, отражающие лексическую и словообразовательную типичность данного языка. Напр.: англичанка *Уилька Чарльзовна* (I, стр. 49.), немец *Карл Карлович* (I, стр. 220.), французы *Альфонс Людовикович* (IV, стр. 61.), *Рокат* и *Венедикт Францыч* (I, стр. 167.), поляк *Каэтан Казимирович Пшехоцкий* (III, стр. 318), грек *Владос*, португалец *Альфонсо Зинзага* (I, стр. 135.), кавказский князь *Микшедзе* (I, стр. 200.) и др.

В ранние рассказы включены пародии на древнегреческие имена, имена исторических и мифических героев: *Автолимед*, *Авторис*, *Аливемелех*, *Додон IV*, *Кардашон LX*, *Кучелеба*, *Тевделинда* (I, стр. 173.) и др.

В творчестве Чехова обращает на себя внимание сочетание различных по происхождению имён, отчеств и фамилий, напр.: *Семён Эрастович*, *Степан Францыч*, *Иван Адольфович*, *Франс Степанович*. Ещё больше проявлялись контрасты в соединениях русских имён, оформленных на иностранный лад, или архаических, которые по своей семантике не соответствовали именам, напр.: *Софи Окуркова* (III, стр. 124.), *Мари Крыскина* (II, стр. 252.), *Мишель Пузырев* (II, стр. 214.), *Маркел Иванович Лохматов* (IV, стр. 412.), *Архип Елесеич Помоев* (III, стр. 316.), *Аристарх Иванович Пискарев* (IV, стр. 285.), *Евламий Степанович Дрянковский* (II, стр. 172.) и т. п.

Итак, несмотря на незначительную возможность использования семантики личных имён человека, эта категория была применена Чеховым в художественно-образительных целях.

Своей деятельности писателя-юмориста Чехов придавал важное общественное значение. Вот, что он писал о юмористической литературе в рассказе "Мария Ивановна": "А её нельзя

закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но всё же она есть и делает своё дело. Без неё нельзя... Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку... Должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время..." (III, стр. 211.). Можно ли нам, читателям, не согласиться с писателем!

Литература

Виноградов, В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.

Карнович, Е. П. Родовые прозвища и титулы в России. СПб., 1886.

Кречетов, В. Верность выбора. Литературно-критические статьи. М., 1986.

Тургенев, И. С. Записки охотника. М., 1984.

Чехов, А. П. Полн. собр. Соч. и писем в 20-и томах. I-V тт. М., 1944-1951 гг.

Próba wyznaczenia miejsca Ciurlionisa w sztuce abstrakcyjnej

E. JUHA

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis nie jest malarzem nie znanym, chociaż rozgłos jego nazwiska nadal nie dorównuje pozycji, jaką ono zajmuje w historii sztuki nowoczesnej. Artysta ten może nas interesować z różnych powodów. Niektórzy krytycy uważają go za prekursora najważniejszych tendencji w sztuce współczesnej, przede wszystkim: abstrakcji. Alexis Rannit, który toczył uporczywą walkę o uznanie Ciurlionisa w Niemczech tak pisze: "W 1911 roku namalował Kandinsky swój pierwszy obraz abstrakcyjny, w 1911 roku litewski malarz Ciurlionis zamknął oczy na zawsze. Już w roku 1904 malował Ciurlionis obrazy, które uważamy za klasyczne przykłady sztuki abstrakcyjnej. Kandinsky poznał je i dzieła te wywarły na nim głębokie wrażenie. Ciurlionis jest pierwszym malarzem abstrakcyjnym." Pogląd ten podzielali także i inni krytycy. A jeszcze inni są nieco innego zdania i rozpoczynają historię sztuki bezprzedmiotowej od słynnej akwareli Kandinsky'ego.

Litwin z pochodzenia Mikalojus Konstantinas Ciurlionis urodził się w 1875 roku w Warenie na Litwie, zmarł 1911 roku w Czerwonym Dworze pod Warszawą. Był muzykiem i malarzem. Od wczesnej młodości zdradzał wybitny talent muzyczny. Studia muzyczne ukończył najpierw w Warszawie, potem w Lipsku. Po

ukończeniu Konserwatorium Warszawskiego skomponował liczne utwory, wśród których największe znaczenie mają poematy symfoniczne "Las" i "Morze". Rysował i malował od dawna, poważnie jednak zajął się twórczością plastyczną dopiero od roku 1904. Wówczas wstąpił do warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych i później nie zerwał całkowicie kontaktu z Akademią. Tworzył całkowicie sam, bez teoretycznych uzasadnień. Nie ogłosił programu ani manifestu. Sztuka Ciurlionisa kształtowała się w warunkach artystycznych Warszawy i Wilna. Główne nasilenie jego twórczości przypada na lata 1904-1909. W 1909 roku zapada na chorobę psychiczną i wraca do Polski. Tu w szpitalu psychiatrycznym pod Warszawą umiera w obłąkaniu w roku 1911.

Ciurlionis jest postacią interesującą, stanowi osobowość tak odrębną i zamkniętą, że trudno go z kimkolwiek porównać. Jednak okaże się, że najwięcej cech stylowych odnajdujemy w twórczości artysty epoki symbolizmu i to w wydaniu młodopolskim. Ciurlionis tworząc w Polsce wchodzi tym samym także do polskiej sztuki. Zestawiając twórczość genialnego Litwina z jego biografią, łatwo można wytłumaczyć muzyczne nazwy, które nadawał cyklom swoich obrazów: "Sonata Słońca", "Sonata wiosny", "Sonata Węża", "Sonata lata", "Sonata morza", "Sonata piramid", "Sonata gwiazd". Każdy cykl składał się na ogół z czterech części "allegro", "andante", "scherzo", "finale". Niektórzy krytycy Ciurlionisa tłumaczą elementy bezprzedmiotowe w jego malarstwie poprzez analogie do muzyki, którą równocześnie się zajmował. "On chce malować muzykę". - pisze w *Kunstwerku* (1967) (Doppelheft 8/9) Navitt. "Śpiewający kolor i świecący ton - oto cel jego syntezy - powiada Konstantyn Umański. (*Apollon*, Sanktpetersburg 1914. nr. 3.) Niewątpliwie, Ciurlionis zastanawiać się musiał nad syntezą sztuki. Ponieważ muzyka w samej swej istocie jest abstrakcyjna, dlatego i malarstwo Ciurlionisa jest abstrakcyjna. Zresztą analogie do muzyki nie były w owym czasie czymś wyjątkowym. Dużo mówiło się o muzyczności, melodyjności, śpiewności linii i barwy. Kładziono na nią nacisk zarówno w szkole Pont-Aven, w kręgu Gauguina i nabistów, jak również w obrębie wiedeńskiej Secesji i niemieckiego "Jugendstilu". Te pojęcia zadomowiły się w estetyzmie końca XIX wieku.

Sama epoka, w której działał Ciurlionis, pełna była sprzeczności. Już w 1890 roku Maurice Denis sformułował słynną definicję obrazu: "Pamiętać, że obraz, zanim stanie się koniem bitewnym, nagą kobietą lub jakąkolwiek inną anegdotą, jest przede wszystkim powierzchnią płaską pokrytą farbami według określonego porządku." Genialny Litwin nie znał pewnie tej definicji obrazu, sformułowanej przez nabistę. Stał się jednak jej mimowolnym, najbardziej konsekwentnym realizatorem, wizjonerem, mającym odwagę wyprzedzić swych rówieśników nowatorstwem własnych poszukiwań. W tym samym czasie wiele mówiono o ideach, które powinny być zawarte w dziele sztuki. Gdy Cézanne i Van Gogh nauczyli się precyzyjnie patrzeć na naturę, inni - Ciurlionis i Wyspiański przedstawiali chimery, zjawy, widma, alegorie i wszystko to, czego nie można zobaczyć. W nowojorskiej "Encyclopaedia of Art" z 1946 roku Charmion von Wiegand określa Ciurlionisa jako pierwszego malarza abstrakcyjnego, podobnie jak w wychodzącym w Baden-Baden czasopiśmie *Das Kunstwerk* wyżej cytowany Alexis Rannit. Oficjalnie uznaną datą narodzin sztuki abstrakcyjnej jest słynna akwarela Kandinsky'ego z 1910 roku, która - według tych krytyków - została wyprzedzona przez Ciurlionisa o sześć lat. Natomiast takie uproszczone postawienie sprawy nie jest sprawidłowe i poważnie przemiesza poglądy na rozwój sztuki nowoczesnej.

*

Jak wiadomo, sztuka abstrakcyjna, zwana też sztuką nieprzedstawieniową, niefiguralną lub bezprzedmiotową, zajmuje czołowe miejsce między wszystkimi kierunkami sztuki XX wieku. Sztuka abstrakcyjna często budzi niezrozumienie, traktowana jako "nielogiczne" układy linii, kształtów i barw, które z pozoru "niewiele znaczą".

W malarstwie abstrakcyjnej decydującą rolę odgrywają przede wszystkim wartości formy, a temat, "treść" są zjawiskiem wtórnym i podporządkowanym wartościom formy. Jest to sztuka, w której brak treści pozwala na zaakcentowanie wzajemnych układów linii, kolorów i brył - więc środków czysto plastycznych.

Za czołowych twórców abstrakcjonizmu uznaje się trzech wielkich "klasyków": Wasyla Kandinsky'ego, Kazimierza

Malewicza i Pieta Mondriana.

Kandinsky w Monachium w 1910 roku namalował pierwszą akwarelę abstrakcyjną - swobodnie rzucone pędzlem żywe w kolorach plamy, otoczone lub poprzecinane delikatnymi, nerwowymi kreskami. Kandinsky w Niemczech napisał i opublikował (1912) książkę "Über das Geistige in der Kunst" (O pierwiastku duchowym w sztuce), która była jego artystycznym wyznaniem - manifestem. W książce tej Kandinsky sformułował zarówno filozoficzne, jak i malarskie zasady swojej wizji abstrakcji w sztuce. U podstaw jego teorii leżało twierdzenie, że celem sztuki nie jest "przedstawienie rzeczywistości", lecz, przeciwnie, jej dematerializacja, poszukiwanie i wyzwolenie tkwiących w człowieku sił duchowych. Pisał: "Przedmioty szkodzą memu malarstwu... Czysto abstrakcyjnymi istotami, które żyją własnym życiem są: kwadrat, koło, trójkąt, romb, trapez i mnóstwo innych form. Wszystkie one są równouprawnionymi obywatelami państwa abstrakcji. Jednocześnie równorzędnym czynnikiem abstrakcji jest kolor, który zmniejsza lub potęguje ekspresję pewnych uczuć i kojarzy się z "brzmieniem" instrumentów muzycznych."

Proces geometryzacji pasjonował awangardowych artystów rosyjskich: konstruktywistów i suprematystów. W Rosji na czoło wysunął się Kazimierz Malewicz, urodzony jako syn Polaka w 1878 roku. W 1913 roku wystawił w Moskwie pierwszą kompozycję abstrakcyjną - słynny "Czarny kwadrat na białym tle.". To była jednocześnie i pierwszą suprematyczną kompozycją, wzbudzającą sensację, będącą już szczytowym osiągnięciem abstrakcji geometrycznej, całkowitym wyzwoleniem "czystej formy".

*

A Ciurlionis? Jak powstało jego malarstwo nieprzedstawiające?

Cała teoria o abstrakcjonizmie Ciurlionisa opiera się na liście

który napisał 2. IX. 1903 r. w Warszawie do swojego brata z powodu namalowania pierwszego obrazu z cyklu "Tworzenie Świata". Na odwrocie pocztówki z reprodukcją böecklinowskiego "Prometeusza" pisze artysta: "namalowałem pierwszy obraz symboliczny." Większość badaczy zdecydowała się dość pochopnie i uznali to entuzjastyczne oświadczenie początkującego malarza za deklarację abstrakcji, chociaż w tym czasie jeszcze nie używano terminu abstrakcja poza

oberębem nauki. Podkreślali wspólne Kandinsky'emu i Ciurlionisowi dążenie do odprzedmiotowania obrazu i z tym związanej zmiany jego konstrukcji. Jednak w świetle dziesiętszej historiografii artystycznej i po dokładnej analizie twórczości Ciurlionisa, wydaje się niemożliwą ta teza. Wyjaśnia się, że termin "symboliczny" został zastosowany w jak najbardziej ścisłym znaczeniu tego słowa, bez żadnych przenośni formalnych. Przecież 28-letni kompozytor dopiero rozpoczynał twórczość malarską. Rozpoczął ją jak najbardziej symbolicznym tematem "Tworzenia Świata". Nawet gdyby przyjąć jako hipotezę przypuszczenie, że namalował istotnie obraz abstrakcyjny (spowodowany przede wszystkim tematyką) byłby to akt nieświadomy i bez żadnych konsekwencji dla jego dalszej twórczości.

Gdy porównać określenie "symboliczny" z terminem, którego używa Kandinsky do swoich dzieł abstrakcyjnych, od razu widać różnicę. Wasylj Kandinsky jest artystą najbardziej zbliżonym do teorii rosyjskich symbolistów. On sam stworzył swoją koncepcję w Monachium. We wstępnych rozważaniach książki "Über das Geistige in der Kunst" z wyjątkową ostrością analizuje problem abstrakcji, rozgraniczając wyraźnie teorię od praktycznego dojścia do jej realizacji. Nazywa on kompozycje abstrakcyjne obrazami "konkretnymi". Praktyczna abstrakcja stawała się dla Kandinsky'ego "konkretem" kreską i barwą, których zestawienie było precyzyjnie określone w rozdziale pod tytułem: "Język form i kolorów." Idea abstrakcji nawet gdyby istniała w pojęciu Ciurlionisa, sytuowałaby się w sferze metafizyczno-symbolicznej w przeciwieństwie do Kandinsky'ego, który wyraźnie oddzielał teorię filozoficzną od praktyki malarskiej.

Teoria Kandinsky'ego obfituje w terminologię muzyczną, a Ciurlionisowi w praktyce malarskiej pomocna staje się muzyka. O ile Kandinsky w "O pierwiastku duchowym w sztuce" pozwala sobie na najbardziej swobodne porównania z muzyką, odnajdując w dziełach malarskich "wartości muzyczne kolorów, kompozycje melodyjne i symfoniczne", o tyle w praktyce malarskiej on sam podobnej terminologii muzycznej nie stosuje. Natomiast Ciurlionisowi w istocie pomocna staje się muzyka, bardziej abstrakcyjna od malarstwa, z dawnymi wytworzonymi i uświadomionymi prawami konstrukcji. Oprócz tego, oczywistego faktu, że nazywa swe poszczególne obrazy jak: fuga, allegro, andante, scherzo, finale; artysta przenosząc zasady konstrukcji muzyki do języka malarstwa

uzyskuje dzięki temu odprzedmiotowanie i wrażenie abstrakcyjności. Najbardziej skomplikowaną konstrukcją muzyczną posiadają jego cykle - sonaty. Oglądając obrazy-sonaty Ciurlionisa czujemy ich rytmizację, widzimy jak artysta organizuje elementy plastyczne: n.p. słońca, gwiazdy, drzewa, chmury, fale. Te elementy stają się akordami wplecionymi w subtelną rytmikę całości obrazu.

Wykształcony jako teoretyk muzyki i kompozytor, Ciurlionis bezpośrednio sięgnie po zasady muzyki: mianowicie kontrapunktu i przetworzenia. Kontrapunkt tłumaczy na płaszczyznę w postaci wielu nakładających się na siebie warstw. Owe muzyczne następstwa w czasie uwidocznione w jego obrazach tymi nakładającymi się na siebie warstwami, które tworzą różne skomplikowane rytmy, stwarzają tym samym wrażenie ruchu, wielogłosowości - polifonii. Ten fakt zaadaptowania konstrukcji muzycznej dla języka plastycznego jest w historii malarstwa bez precedensu. Na te nawarstwienia artysta umieszcza odtworzenia przedmiotów rzeczywistych, przedmiotów symbolicznych i przedmiotów - form samodzielnie stwarzanych, wyabstrachowanych. Te elementy kompozycyjne rytmicznie powtarzają się w celu spotęgowania efektu całości. Ciurlionis tworząc własny, fantastyczny świat sztuki, buduje swe dzieła jako ciąg części symfonicznych. Podobnie widzi genezę tego malarstwa Konstantyn Umański: "Ciurlionis szuka w liniach i barwach środków wyrazu, równoległych muzyce... Śpiewający kolor i świecący ton - oto cel jego syntezy." Rzeczywiście on szuka pełnej syntezy czasu i przestrzeni w malarstwie, zatem czegoś nieosiągalnego. Idea o syntezie sztuk (Gesamtkunstwerk), do realizacji której starał się Kandinsky i Skriabin, jest upragniona i przez Ciurlionisa.

Z muzyką wiązał się charakterystyczny dla całego symbolizmu i modernizmu nastrój. Ciurlionis nie rezygnuje z nastrojowości symbolizmu. Świadczą o tym same tytuły, jakie nadaje swoim utworom: "Spokój", "Cisza", "Szelest lasu", "Sen". To jest jeszcze jeden dowód powiązania Ciurlionisa ze swą epoką.

Ciurlionis pozostawił po sobie dzieło oryginalne i fascynujące. Mimo tego, że dowiedziano, że tempery Ciurlionisa z 1904 roku nie są chronologicznie pierwszymi dziełami abstrakcyjnymi, na zakończenie warto podać krótki wykaz najwcześniejszych dzieł malarzy abstrakcyjnych:

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis - Litwin - 1904

Wasylij Kandinsky	-	Rosjanin	-	1910
Micheł Larionow	-	Rosjanin	-	1910
Natalia Gonczarowa	-	Rosjanka	-	1910
Robert Delaunay	-	Francuz	-	1912
Frank Kupka	-	Czech	-	1912
Kazimierz Malewicz	Polak-	Rosjanin	-	1913
Vladimir Evgrafowicz - Tatlin	-	Rosjanin	-	1913
Piet Mondrian	-	Holender	-	1913

Z zestawienia tego wynika, że większość w kształtowaniu początków sztuki abstrakcyjnej posiadali przedstawiciele narodów Europy wschodniej. Oczywiście żadna poważniejsza konsekwencja artystyczna z tego nie wynika, jednak warto uświadomić sobie, że obrazy malowane przez wielkiego Litwina, które powstały w Polsce, które fascynowały i Kandinsky'ego mają już pokrewne cechy z przyszłą sztuką abstrakcyjną.

Byłoby bardzo łatwo zapuszczać się w hipotetyczne przypuszczenie typu: "Gdyby Ciurlionis żył jeszcze kilka lat dłużej..." Ciurlionis wykonał swoje zadanie historyczne z całym żarem. Całe życie poświęcił sztuce. Niestety, jego sytuacja historyczna nie pozwoliła mu na większą rolę praktyczną w rozwoju sztuki XX wieku, był on jednak jej pełnoprawnym synem i walczył wszystkimi siłami o realizację współczesnych mu ideałów artystycznych. Trudno jest ocenić wartość sztuki Ciurlionisa i dać odpowiedź na pytanie - "Jaki był jego rezultat?" Zamiast odpowiedzi można by postawić inne pytanie - "Czy historia ludzkiej kultury zbudowana jest tylko zwycięstwami? Przecież akt twórczy jest równie interesujący co rezultat.

M. K. Ciurlionis przebiegł jak meteor na nieboskłonie wzburzonej epoki początku XX wieku. Spalił się we własnym ogniu, którego temperatury żadna istota ludzka nie mogłaby wytrzymać. Był on najbardziej kompletnym wcieleniem swojej epoki. Poszedł swoją drogą o istnieniu której nikt nie przypuszczał. Jak napisał Romain Rolland w roku 1930. "... był on nie tylko tym, który wzbogacił sztukę malowania, ale również poszerzył nasz horyzont w sferze polifonii i rytmu.

To jest zupełnie nowy kontynent, którego Krzysztofem Kolumbem stał się Ciurlionis."

Literatura

Mieczysław Wallis, Geneza i podstawy malarstwa bezprzedmiotowego
Estetyka 1960, rocz. 1, s. 169-188.

Maria Berdyszakowa, M. K. Ciurlionis
Nurt 1966, Nr 1, s. 53.

Andrzej Nakov, Mikołaj Ciurlionis,
Kultura Paryż, 1967, Nr 6, s. 26-51.

Dzieje sztuki powszechnej, red. **Bożena Kowalska**
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1986.

Jerzy Ludwiński, M. K. Cziurlionis-pierwszy malarz struktur,
Życie i Myśl 1964, Nr 3-4, s. 183-186.

Jerzy Ludwiński, Między muzyką, baśnią i abstrakcją,
Życie Literackie 1958, Nr 337, s. 8.

Andrzej Jakimowicz, Pierwszy abstrakcjonista?
Współczesność 1962, Nr 12.

Dolores Łubieńska, Mikołaj Konstanty Ciurlionis /1875-1911/
Współczesność 1965, Nr. 17, s. 6.

Feliks Nowowiejski, Życiorys Czurlonisa
Życie Literackie 1959, Nr 363, s. 7.

Библейские образы поздней лирики Пастернака

И. ВИЛАГИ

В лирике Пастернака овеществлённый мир появляется в самой тотальности, намекающей не только на взаимозависимость бытия и небытия, на временную непрерывность рождения, жизни и смерти, на возможность метаморфозы, но и предполагающей существование неразделимого, стоящего вне измерений и находящегося во всех проявлениях духа вселенной, то есть – мировой души, Бога-творца.

У поэта всё это освобождено «не только от символического пафоса трансцендентальности, от иронической сниженности, но и от общественной гиперболизации: напряжение происходит не между полюсами отрицания и надежды, прошлого и будущего»¹. Этот лирический образ мира формирует в единое целое события, природные явления и конкретные предметности, непосредственно ощущённые поэтом в реляциях неповторимого настоящего времени, в котором "Пастернак видит условия человеческого равноправия в борьбе с чуждыми силами и искусственными преградами, тяжким грузом, лежащими на жизни, – в чувственном освобождении»², «во вскрытии пластов над погребённой жизнью, в высвобождении ущемлённой и подавляемой чувственности»³. Обрётённые в природе и пережитые человеком тотальность и совершенство чувств формируют новый тип лирического субъекта, пронизывающий самые разнообразные сферы

человеческой жизни, прозу будней и повседневной деятельности.

По мнению Лидии Гинзбург, «человек тоже сцеплён с вещами, но совсем не болезненно, не мучительно. Потому что для Пастернака в этой связи есть смысл принадлежности человека к общей жизни; она и есть несомненная ценность»⁴. Таким образом, природные явления и каждодневная обыденность, наполняющие живой мир, все предметы, привычки, события земного бытия, равно как и потусторонний уровень, возникающий в воображении человека – однако, существующий и вне зависимости нашего сознания –, космос, Бог, как нечёткие и туманные отражения всемогущества, прелести силы Создателя, – всё это становится частями конвенциональной, стереотипной жизни.

«Пейзаж и интерьер у Пастернака никогда не появляются как предмет изображения, его рамка, как случай, возможность или фон: они выступают субъектами, имеющими полную самостоятельность лирического сюжета. Объекты сами действуют, чувствуют, тоскуют, скучают, жаждут, бесчинствуют, избегают и преследуют друг друга. И посредством этого – метонимически – буквально⁵ ошутимо прорисовываются контуры некоей отдельной личности»⁵.

Методическое восприятие мира – органическое свойство поэта. Метафоричность является для него выражением всеобщей сцеплённости, в том числе, неразрывной связи души и тела, природы и живущего в ней, одушевлённого и неодушевлённого, материи и энергии, земли и неба, человека и Бога, земной и потусторонней жизни.

«В то же время метафоричности свойственна дробность; метафорическая речь распадается на отдельные смысловые структуры. Для Пастернака главное не контекст замкнутого стихотворения, но именно эти структуры, живущие своей жизнью и одновременно сливающиеся в большой⁶ поток, в большой контекст его лирического творчества»⁶.

Образность представляется художнику не связью чувственного со сверхчувственным, конкретного с абстрактным, мёртвого с живым, но – связью явлений и предметностей между собой, взаимным истолкованием вещей, раскрывающих друг перед другом свои смысловые потенции; стало быть, образность является связью познавательного. Мы имеем дело не столько с методом художника, сколько с объективным свойством мира человеческой культуры. То есть: всё отражается во всём конкретно и отвлечённо, метафорично и с точки зрения образности; любая вещь может стать отражением и подобием

любой другой вещи, все они превращаются друг в друга, и превращения эти ничем не ограничены.

В «Охранной грамоте» Пастернак говорит об искусстве, что «оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло её в природе и свято воспроизвело»⁷. Здесь им формулируется концепция немецких романтиков, согласно которой метафорические сближения отражают единство природы, магическую одушевлённость всех её элементов. Однако Пастернак специфичен в том, что романтическая метафоризация природы распространяется им на всё, на всю совокупность эмпирических явлений, неодушевлённых предметов, отвлечённых понятий, увлекаемых неудержимым лирическим напором.

«Этот сталкивающий слова со словами, преображающий их значения напор решающе важен для семантики Пастернака. Пастернак не был изобретателем слов – подобно его современникам символистам и футуристам, – он изобретал неслыханные отношения между словами, часто общеупотребительными и заимствованными из разных речевых пластов»⁹. В автобиографии «Люди и положения» он пишет: «По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься, и второпях он говорил своё новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов...»¹⁰.

«Солнце греет до седьмого пота, / И бушует, одурев, овраг»; «Чохнет снег и болен малокровьем / В веточках бессильно синих жил»¹¹. И мы знаем, что это – весна. Март. Целый ряд олицетворений, метафор, метонимий предвещает непрерывное циклическое возрождение, наступление в стихотворении метаморфозы жизни и человека.

Осуществление грандиозных событий – выход на сцену в роли Гамлета, распятие и воскресение Христа, ожидание и приход любви во всех её проявлениях, безнадежный побег откуда-то куда-нибудь с неизбежностью катастрофы, чудотворство, покаяние и наказание за грехи прошлого, лицемерный поцелуй Иуды, сошествие в могилу и примирение с волею Господней – означает, что переживание катарсиса в этих лирических произведениях всегда предшествует тишине, темноте, догорающим огням заката, мёртвому морозу снегопада, жуткой догадке, горю, тоске, ночному кошмару, укорам совести и равнодушно-статичному миру звёздного света макрокосмоса, – словом: сдержанности и таинственности напряжённого ожидания.

Цитируемые ниже строки из стихотворений Пастернака – «как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых на Страстях Христовых», «деревья смотрят нагишом (...) И взгляд

их ужасом объят»; «и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно», когда на «свечку», символизирующую жизнь, «дуло из угла» – пониматься должны не в переносном смысле, а обязательно конкретно; так же, как объективно и визуально воспринимается строка: «как гулкий колокол набата, неистовствовал соловей» или – «в необъятность неба, ввысь / вихрем сизых пятен / стаей голуби неслись, / снявшись с голубятни»¹². Вернее, «всё становится личным без совершения того по воле поэта, лирического «я»; оно появилось бы средством самовыражения, беспрестанно ссылаясь на своего творца, благодаря которому и существует. Личность прорисовывается из самых предметностей и посредством их и без аннулирования чувственной оживлённости»¹³.

Таким образом, даже наиболее комплексные темы оказываются в лирике Пастернака в чистой гармонии; замысел поэта взмахом дирижёрской палочки направляет ход самых неожиданных оборотов, насыщенных ассоциативных рядов со сложными и многократно переносными поэтическими образами, косвенных намёков на тишину умалчивания и пустоту пропусков. Строгая форма придаёт величие необычной и насыщенной лексике, обогащающей повседневный язык повышенными речевыми оборотами, не брезгуя при этом ни эллиптическими выражениями, ни неологизмами. Эта форма упорядочивает оригинальный, порою ошеломляющий нас образный мир, плотную, часто непроницаемую и почти пышную ткань стиха, сообщает ходу стихотворения изящность скольжения змеи, сопровождаемого переливами её совершенного рисунка чешуи – цепью наслаиваемых и неотделимых друг от друга мотивов.

«Недужинная густота и плотность стихотворного текста, затрудняющая иногда углубление в смысл высказываемого при первом прочтении – самая главная черта поэзии Пастернака. Это позволяет ему передать сложные, многосторонние переживания и точно отобразить собственные настроения. Предметы окружающей среды он созерцает не в их изолированности, а в их более общих связях, показав, как они соотносятся с комплексным целым. Вникая в сущность изображаемых явлений, он не позволяет ускользнуть и мелким частностям»¹⁴.

Следовательно поэт, как и все прочие художники вообще, обладает созданной им трактовкой мира. Иначе говоря, наблюдая за самыми неприметными звеньями цепи взаимосвязанностей предметного, живого мира и предполагаемого потустороннего мира, воли Всевышнего и земных

закономерностей, души и материи, поэт раскрывает и художественно изображает выявляемые и существующие контакты между микроскопически мелкими и незначительными элементами будней и грандиозными явлениями жизни и Вселенной в их полноте, в тотальности художественного отображения.

Вариации тотального изображения и выявление контактов исследователь А. К. Жолковский излагает следующим образом: «человек – равноправный партнёр таких макрокосмических величин, как небо, даль, вечность»¹⁵.

Эти непосредственные и косвенные библейские ссылки присутствуют чуть ли не во всей лирике Пастернака, но преимущественно характеризуют его позднюю поэзию. В стихотворениях, написанных во время и после войны, он перешагнёт чрезмерно буйно разрастающуюся, усложнённую, удушающе плотную систему мотивов своих юношеских произведений, откажется от «бесконечной сцеплённости, складывающейся из мелких дробностей метафоричности»¹⁶, интуитивно схваченной Вселенной, от наглядности, образности и рельефности, «сливающихся в контекст лирического творчества, в большой поток метафорической речи, живущей собственной жизнью, которая распадается на отдельные смысловые структуры»¹⁷. В поздней лирике поэт пытается проще и в более прозрачных тонах изложить многогранную систему отношений космоса, великие вопросы жизни и бытия.

Вера, человечность и христианство Пастернака, библейские образы поэта наиболее характерно находят своё выражение в стихотворениях Юрия Живаго. По замечанию Л. Ягустина, эти структурно включённые в роман стихотворения связаны с ним. Все стихотворения можно разделить тематически на три части, как «вплетённые друг в друга циклы»¹⁸, а в общем целом они представляют собой автономные пастернаковские произведения.

«Двойная аллюзия первого стихотворения – «Гамлет» – воссоздаёт одновременно библейскую ситуацию и задачу, поставленную перед Гамлетом с присутствующим в них напряжением восстановления нарушенного строя мира и сбившегося с верного хода мирового времени, с чувством одиночества личности, осознающей громаду и тяжесть своей задачи; всё это появляется снова и в последнем стихотворении»¹⁹: «Я один, всё тонет в фарисействе. / Жизнь прожить – не поле перейти.»²⁰ («Гамлет»); «Я в гроб сойду и в третий день восстану...»²¹ («Гефсиманский сад»). «Осознание судьбы и предназначения знаменуют для Юрия Живаго приятие жизни, но

не какой бы там ни было, а – службу субстанциональному бытию»²².

«Второй циклический ряд стихотворений передаёт впечатление от времён года, протяжённых от *«Марта»* до *«Рождественской звезды»*. Принцип органичности построения жизни и её хода циклично повторяется и воспроизводится со скоростью смены времён года, увядания и возрождения растительного мира. Циклическое обновление, значение возобновления жизни и её непрерывности в других качествах соединяет воедино весь стихотворный цикл с его историческими аллюзиями и заключительные строки последнего стихотворения»²³:

«Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывт из темноты»²⁴.

Ради спасения человечества Иисус Христос принимает смерть, назначенную ему Отцом Богом, претерпевает муки распятия, дабы исполнить волю Господню; идёт на всё это с полным сознанием, что ценой этой жертвы смоет вину изгнанных из Рая и, заложив основы новых нравственных устоев, показав пример, сможет отпустить грехи каждого отдельного человека.

«Третий смысловой ряд цикла представляют взаимоотношения друг в друга стихотворения *«Белая ночь»*, *«Лето в городе»* и *«Земля»*, в²⁵ которых образ города принимает универсальный характер»:

«Чтобы за городской гранью
Земле не тосковать одной...
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.»²⁶

Производимое библейскими образами впечатления, поиски и нахождение ответа на извечный вопрос «быть или не быть?», принятие на себя обязанности возвращения в истинное русло течения вселенского времени и восстановление мироустройства, нарушенного человеком, единство и борьба противоречий принципа циклических смен времён года в природе, равно как и возведение на уровень универсальности образности городских картин, красота любви и обретенное счастье, – всё это находится по соседству и вместе в приведённых выше строфах, сплочённых единственной и принятой всеми и на века мыслью: возможные пути осуществления полноценной, гармоничной жизни, конечные вопросы жизни и смерти, бытия и небытия. На основании этого не только образный мир, непосредственно созданных на библейские темы стихотворений, но и чёткие

трактовки, несущие основную нагрузку структуры любой, произвольно взятой тематики, так или иначе вычленяют и разбирают мотивы возможности Бога и его существования, как аксиомы, христианской готовности к жертвоприношению в целостности художественного отображения, а также – поиски и установление контакта друг с другом и потусторонним уровнем посредством всплеск гения в ходе обработки лирического материала.

По мнению Жолковского, эти установление контакта и тотальное изображение «выражаются очень разнообразно, пронизывая все стороны, уровни и элементы поэзии Пастернака»²⁷. Единство человека и природы является основой создания метафоры по-пастернаковски; позднюю же поэзию и поэтику Пастернака характеризуют метонимичность и, особенно, обилие метаморфоз.

«Памяти Марины Цветаевой» – первое произведение Пастернака, за которым стоит новое мирозерцание. Прежнее единство мировосприятия: жизнь – сменилось новым триединством: жизнь – смерть – воскресение...²⁸ Воскресение – сюжетный план контекста позднего Пастернака».

«Чудо и его спутница тайна составляют атмосферу поэзии позднего Пастернака... Но пришло нечто новое. Контекст позднего Пастернака формирует свою семантику «тайны» и «чуда». Каков бы ни контекст отдельного, данного произведения, тайна никогда не равна загадочности, недосказанности или секрету и всегда соотносится с той, главной, и, по сути, единственной тайной: жизни – смерти – бессмертия... Тайна – не просто таинственность, но таинство. Чудо – не просто непостижимость, но событие, действие: чудодействие... По характеру своему это – сюжетность драматическая: а сказав конкретнее: сюжетность Мистерии. Драматическая сюжетность – причём «сюжетность чуда» – объясняет роль и место метаморфозы в поэзии и поэтике позднего Пастернака. Будучи действием, событием, протекающим во времени, метаморфоза сама по себе есть сюжет. Метаморфоза (по определению) есть чудо; и является таковым на уровне образа. Метаморфоза же есть инструмент для создания эффекта, именуемого «чудом», – на уровне приёма. В основании всех метаморфоз у позднего Пастернака лежит одна – генеральная – метаморфоза: превращение жизни в смерть и – наоборот»²⁹ – пишет А. Якобсон.

Возьмём один пример:

"Ещё кругом ночная мгла.

Ещё так рано в мире,

Что звёздам в небе нет числа...
...Ещё земля голым-гола...
...Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И чёрный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица -
И вдруг навстречу крестных ход
Выходят с плашаницей,
И две берёзы у ворот
Должны посторониться.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь -
Смерть можно будет побороть
Усиьем воскресенья»³⁰.

В процитированных выше строфах и отрывках стихотворения «На Страстной» роль метафоры выявляется следующим образом. С её помощью человеческая внешность и его душевное состояние (одежда, пеньё, слёзы), предметы и явления мира, состояние природы (мгла, звёзды, раздетый и непокрытый лес, нагие деревья), то есть внешняя оболочка и движения души человеческой (грусть, радость, молитва), связанные с надеждой воскресения, и объекты непосредственного омертвевшего окружения (голая земля, немые колокола, деревья без листьев) как бы наслаиваются на макрокосмос (на усеянное звёздами небо, на праздник Пасхи, на землю), а так же - на муки распятия и величие Христова воскресения. И в таинственной тишине окончания стихотворения наступает метаморфоза: вознесение Христа, в котором условно, символически заключается и возможность вечности, бессмертия человеческой души.

В творчестве позднего Пастернака приоритет бессмертия стоит в центре внимания поэта и его лирических произведений. Стихотворения с использованием мотивов Евангелия и в том числе исключительное по своему тематическому значению стихотворение «На Страстной» создают общий сюжет поздней лирики Пастернака. Образы этих произведений в определённом смысле родоначальны и основоположны по отношению ко всем остальным образам этого периода: не в хронологическом и не в эстетическом смысле, а в мировоззренческом и

сюжетообразующем. Эти образы родоначальны и основоположны потому, что они ближе всего стоят к истоку темы бессмертия – к *Евангелию*; потому что они представляют тему в её наиболее непосредственном, изначально-данном и, так сказать, наглядном, т. е. – сюжетно-оформлённом виде. Эти образы доминантны ещё потому, что они выводят тему из внеположного поэзии первоисточника, как бы узаконивают её везде и всюду, идейно санкционируя множество других образов, решающих ту же тему.

Воздействие, достигаемое поэтом с помощью метафоры (например, «наслаивание» внешности человека на пейзаж), можно вызвать, не прибегая к тропу, – непосредственно физическим или «пластическим» установлением контакта:

«Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случится на моём веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси»³¹.

В «Гамлете» мы слышим четыре сменяющих друг друга голоса: исполняющего роль Гамлета актёра, самого шекспировского героя; Иисуса Христа, слова которого почти дословно цитируются по *Евангелию от Марка* («Авва Отче! Всё возможно тебе; пронеси чашу сию мимо меня»³²); и, наконец, лирического «я», автора, в третьей строфе, типичной по своим мотивам для поздней лирики поэта, «не потому, что здесь можно найти буквальные лексические повторы, а потому, что она воспроизводит очень характерный для всего творчества Пастернака мотив. Именно потому невозможно определить, в каком именно – буквальном или переносном – смысле употреблены Пастернаком слова «замысел», «роль», «драма», ибо в его стихах мы неоднократно находим метафоры «жизнь – театр», «герой – актёр», «Бог – режиссёр» и т. п.»³³. Лирическое «я» завершающей смысловой единицы в наименьшей мере семантизируется контекстом; иначе говоря, четвёртая строфа – это высказывание, лишённое контекстных опор, и, видимо, не нуждающееся в них:

«Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти»³⁴.

Доминантные поэтические картины этого стихотворения метонимичны и многозначны. «Гул затих» так же намекает на тишину театрального зала перед началом спектакля, как на акустически таинственную и идиллическую уравновешенность начала творческого процесса или на вдохновлённое состояние поэта. В семантике «я вышел на подмостки» заключаются и конкретное появление актёра, и выход на сцену жизни, – единовременный и неповторимый акт рождения. «Дверной косяк» отчасти является элементом декорации, отчасти – библейской ссылкой на те строки Нового Завета, когда Христос трижды выходит из³⁵ комнаты, где проходила Вечеря Господня в Гефсимании. Горькая «чаша» в равной степени напоминает нам слова распятого Христа, обращённые к своему Отцу небесному³⁶, и ассоциируется с полным отравленным вином бокалом во втором явлении пятого действия трагедии Шекспира.³⁷ А «фарисейство» превосходно характеризует как обстановку Иерусалима времён Христа, так и эпоху Сталина. Вместе с тем в последней строфе выражен смысл человеческой жизни и обязанности перед ней, показаны очертания христианской веры, носящей в себе символику искупления Христа, несмотря на его одиночество.

В системе мотивов Пастернака можно выявить разнообразные типы «пластических» и «тотальных» контактов. Попытаемся упорядочить эти контактные типы на основе примеров, взятых из стихотворений, включённых в роман «Доктор Живаго».

Первый из них – «озарение» – представляет собой такую форму установления связей, в которой доминантность световых или цветовых эффектов приближает и почти сплавляет предметы, находящиеся в некоем временном и пространственном отдалении друг от друга.

«Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа
Дело у весны кипит в руках.»³⁸

Растопленные солнечным теплом снега переполняют вешними водами ручьи и реки, а в переносном значении – божий свет озаряет землю; и всё в природе сбрасывает с себя зимнее оцепенение: происходит циклическое возрождение, наступает предсказанное Библией воскресение.

«Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил»³⁹.

Точающий луч солнца, его закат – как антонимия озарения в предыдущем контексте, где земля воскрешается светом – несёт с собой настроение смерти, мерцает трагическая возможность кончины в разных её вариантах. Рождение – жизнь – смерть – возрождение, как было отмечено в начале этой статьи, показывают не только неоднородность и взаимопроникновение бытия и небытия, но и присутствие стоящего вне пространства и времени – Бога-создателя, духа.

«На озарённый потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья»⁴⁰.

Свеча, горящая на протяжении всего стихотворения «Зимняя ночь», в четвёртой строфе озаряет потолок комнаты. Влюблённой паре предоставлена возможность, укрывшись от угроз внешнего мира в тепле дома, переплестись в объятиях, ища и принося друг другу радость, любовь и счастье, обретаемых в небольшом пространстве и времени корреляции мирокосмоса; в комнате, ограниченной горизонтально потолком, вертикально окном. «Судьбы скрещенья» несут в себе одновременно как однократность, неповторимость прекрасных мгновений, так и возможность угасания любви, даже – самой смерти. Три раза повторяется в строфе мотив «креста», «скрещений», а затем упоминание ангела со скрещёнными крыльями возвращает нас к образу распятого Христа.

«Образ *страсти*; страсти, осенённой крестным знаком. (Заметим, что *крестообразность* – после трёх *скрещений*). Выделим – искусственно, условно – два плана стихотворения: общий и подробный, детальный. Общий план – это тема: *метель – свеча, мело – горела*. «...по всей земле / Во все пределы» – масштаб *метели*. И это масштаб всего плана стихотворения.

Ибо свеча соразмерна метели. Они соразмерны как образы – при всей несоразмерности занимаемых ими пространств (*метель* – «по всей земле», *свеча* – «на столе»). Через пространственную сжатость одного явления как раз и выражена его соразмерность с другим явлением, пространственно необозримым, – потому что сжатость одного, как и размах другого, выступает здесь мерой силы. А в равносильности и состоит соразмерность: бездн *небытия* противостоит предельно сжатое, сосредоточенное, интенсивное *бытие*, высшая концентрация жизни». ⁴¹

Об аспекте соразмерности можно ещё добавить следующее. Необъятность внешнего пространства («вся земля», «все пределы») – это стремление к *бесконечности*. Бесконечному в пространстве сомаштабно бесконечное во времени, т. е. *вечное*. В «*Зимней ночи*» тема «вечного» приглушена, спрятана в судьбе («судьбы скрещения»). Судьба в предельном значении понятия стремится к *вечности*; это путь жизни, путь смерти и – в определённой системе мышления – путь бессмертия. Судьба – это свеча, общий план стихотворения, это присутствие в «*Зимней ночи*» онтологического времени, которое сомаштабно онтологическому пространству метели. Онтологическое время (общий план) делает образным, осязаемым признаки астрономического, конкретного времени (детальный план): «ночь» («ночник»), «февраль»; а кроме зимы есть, между прочим, лето: «как летом роем мошкара».

Что же представляет собой детальный план стихотворения?

Это – сюжетное развитие общего плана, сюжетная развёрнутость его образов: *метели* и *свечи*.

«Внутреннее пространство в «*Зимней ночи*» – пространство *свечи*. Всё, что происходит во внутреннем пространстве, – игра *свечи*, её эманации, превращения. Наименее зависимыми от *свечи* могут представляться образы пятой строфы, – но не упустим из виду *воск*, превращающийся в слёзы. Как *метель* выводит свои узоры («Метель лепила на стекле / Кружки и стрелы»), так и *свеча* рисует своё: «На озарённый потолок ложились тени...». Теневое, таинственное. Любовников нет, но есть их присутствие, любовное раденье. И присутствие их – не равно, присутствие женщины явлено полнее, обозначено предметнее: «два башмачка», «платье», – и в этой предметности своя особая – женская – таинственность. Таинственен самый ряд: *озарённость*, *судьба*, *слёзы*, *соблазн*, *ангел* (лексико-семантический ряд сам по себе, хотя бы и вне контекста).

Свеча – в доме («на столе») и вместе – не в доме, прямо в белой мгле, в голем мировом пространстве метели. Свеча – в доме («на свечку дуло из угла») и вместе – не в доме, во вселенской круговерти, в центре мироздания. Обнажённость свечи – чудесна.

Чудесно её противостояние, противоборство. Это есть тайна. И это есть чудо. Атмосфера «Зимней ночи» – атмосфера тайны и чуда.⁴²

Эти тайна и чудо озаряют все объекты и явления стихотворения, озаряют великолепие любви, подняв эту вечную любовь в небеса метафорой «озарённого потолка» («потолок» в метафорическом смысле здесь соразмерен «небесам» и символически, и объективно, конкретно представляет собой горизонтально пространственную границу контекста стихотворения), то есть порождённая атмосферой чуда а порождающая её, метаморфоза есть внутренний облик стихотворения, и она есть его основной конструктивный принцип. Словом, всё возникает в «Зимней ночи» из двух стихий, и всё сводится к ним: к свету и тьме, к блистанию и к черным-черной ночи, то есть – к жизни и смерти.

«Оставление следа» (термин Жолковского) представляет собой показ сцеплённости поэтических средств после распада их связи с тем нескрываемым авторским замыслом передачи их воздействия друг на друга в течение случайной встречи.

«С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Её отъезд был как побег.
Везде следы разгрома»⁴³

Местом оставления следа здесь оказывается пустой и разорённый дом, который мог бы стать идиллическом приютом любви до начала стихотворения. Мужчина, стоящий на пороге, символизирующем рубеж двух уровней мира, видит уже только хаос, следы побега, медленно затуманивающиеся в памяти очертания фигуры любимой женщины: «Она в момент ухода / Всё выворотила вверх дном / Из ящиков комода»; «Как затопляет камыши / Волненье после шторма, / Ушли на дно его души / Её черты и формы.» «И плачет втихомолку» герой, и хорошо знает, что нет пути к возврату, что «разлука их обоих съест, тоска с костями сгложет». Но подтекст разлуки имеет более глубокое содержание: никогда больше невозможно вступить в дом, символизирующий уже потусторонний план, потому что след любви, дающей смысл его жизни, навечно стёрт неведомой,

враждебной силой. Остался единственный конкретный след: «И, наколотившись об шитьё / С невынутой иглой». И физическая боль – как оставление следа – в последний раз вызывает в представлении милую ему фигуру и образ прошлого: «внезапно видит всю её и плачет втихомолку». ⁴⁴

«Зацепление» (по термину Жолковского) представляет собой лирическую фазу, предшествующую во времени «оставлению следа», когда находящиеся в трёхмерном измерении или согласно иному, более высшему принципу, и расположенные в непосредственной близости друг от друга предметности, явления, существа, люди или поступающие из потустороннего плана символические, таинственные сигналы и сообщения физически охватывают объективные предметы или завладевают душой одинокого, брошенного в мире героя, трагически переживающего нехваку трансцендентального уровня.

Наилучшим тому примером может стать библейская образная система стихотворения «Чудо».

«Он шёл из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.» ⁴⁵

Христа охватывают мрачные предчувствия. У него оборвалась связь с Богом-Отцом и родиной, поэтому расставание, символизируя смерть, угрожает гибелью.

Первые две строки произведения иллюстрируют неуверенность, сомнения, зловещие предчувствия и вытекающую из них отчаянность лирического «я», когда им овладевает неверие в Бога, цель следования теряет свои очертания. Угрожающие извне жизни его учеников засуха, неподвижность, тишина или, цитируя библейские образы Пастернака, «колючий кустарник на курче был выжжен», «Мёртвого моря покой недвижим», «поле в уныньи запахло полынью», «один Он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытьи», «всё перемешалось: теплынь у пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи» ⁴⁶, – все эти явления вместе инспирируют сотворение новых чудес ради спасения людей, верующих в него, ради спасения самой веры:

«Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоём столбняке?»

Я жажду и алчу, а ты пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита.
Останься такой до скончания лет»⁴⁷

Вновь слышатся конкретные ссылки на *Евангелие*, на этот раз от *Матфея*: «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провёл там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошёл к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но, если и горе сей скажете: «поднимись и ввергнись в море», – будет. И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите.»⁴⁸

Мы буквально ощущаем, как всё в стихотворении цепенеет, высыхает в горячем воздухе, впадает в забытие и становится бесплодным, потому что лишено чудотворства. Выжженный зноем кустарник, горечь моря и настроения, пыльная дорога и запах полыни, грусть предчувствий, не приносящая утоления жажды бесплодная смоковница, оставленный Богом и углублённый в мысли Христос, – предметности стихотворения застывают неподвижно, *вцепившись* в смертельном страхе друг в друга и – ждут чудотворства: прихода Бога и спасения.

В атмосфере чуда преобразования выступают как превращения, а метафоры – как метаморфозы. Но дело, собственно, тут не в метафоре, не в наличии метафорических построений. Элементарная фигура *метафоры*-прямое сравнение «как»:

«По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило дотла.»⁴⁹

Прямое сравнение синтаксически и логически самое условное из уподоблений, самое далёкое от эффекта превращения или тождества. В целом контексте стихотворения после карающих слов Христа наступает мёртвая неподвижность, а в последней строфе совершается чудо, происходит метаморфоза:

«Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.»⁵⁰

Здесь уже господствует возможность метаморфозы. Она осуществляется и благодаря метафоре и помимо неё, а хотя бы и вопреки ей. Конструктивная роль метафоры вообще скромна в стихотворении. Это не ранний Пастернак. Образы строятся и взаимодействуют преимущественно не метафорически. Механизм иносказания здесь является подсобным средством.

«Для поэтического мира Пастернака характерно не просто изображение контактов, в частности, между домом и внешним миром, но и принципиально положительное отношение к этим контактам: в нормальной, прекрасной вселенной, воспеваемой Пастернаком, всегда хороши оба элемента, вступающие в контакт, и хорош факт контакта между ними. Что же происходит в тех (относительно более редких) случаях, когда поэт ощущает себя в конфликте с изображаемым, так как оно не соответствует основам его поэтического мира? Возникают образы враждебного, губительного контакта или контакта прерванного, неосуществлённого, бесплодного. Эти два типа образов мы условно назовём *отрицательным контактом*»⁵¹ – пишет Жолковский. К этим отрицательным явлениям относятся мотивы разлуки (то есть *«анти-контакта»*), прощания, фальши, смерти, горя, тоски, гибели, разорения, одиночества, неверия и безбожия.

Следующий тип установления связей – *приникание*. Сущность его заключается в том, что люди, предметности и пейзажи притягиваются по какой-либо причине друг к другу, и в точке сближения формируется метафора.

В стихотворении «Земля» «в московские особняки врывается весна нахрапом», «и всюду воздух сам не свой»; природа пробуждается от глубокого зимнего сна: «И тех же верб сквозные прутья, / И тех же белых почек вздутья / И на окне, и на распути, / На улице и в мастерской». Из этих и предыдущих строчек вытекает жизненная философия поэта:

«На то ведь и моё призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городской гранью⁵²
Земле не тосковать одной»

В пейзажном, на первый взгляд, стихотворении, смысл человеческой жизни, его призвание и божественное предназначение снова оказываются в центре внимания, в котором «тайная струя страданья / согреет холод бытия»⁵³.

Отражение – это рефлексия света или излучения неживым предметом, брошенной другим объектом тени, резонанс конкретного поэтического образа противоположной полярности или отвлечённого понятия; в меньшей степени – воздействие выражения воли, помощь или наказание посланника Бога, обычно, в виде ангела или голубя, направленные на приходящего в себя человека, способного оценивать свои действия. Чрезвычайно важную и многогранную роль играет у Пастернака и отражение контакта двух людей, находящихся в пространственной близости друг от друга.

Состояние разлуки, показанное в строчках «сквозь иней на окне / Не видно света божья» и «Безвыходность тоски вдвойне / С пустыней моря схожа»⁵⁴, ощущается нами как *антиотражение, антиконтакт*.

«Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озарённый потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами ночника
На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле,
Седой и белой,
Свеча горела на столе,
Свеча горела.»⁵⁵

В процитированных строфах *отражением* является одновременно контакт и отсутствие связи между макрокосмосом (бесконечным в пространстве и времени образом, то есть покрытым мглой, заснеженным, дышащим холодом пейзажем) и микрокосмосом (озарённым пламенем свечи интерьером комнаты, полной теплотой уюта и уверенности в убежище). Защищённая

от абсурдного и отчуждённого внешнего мира четырьмя стенами идиллического интерьера любовь мужчины и женщины освобождает их от повседневного гнёта страхов и шаблонностей, от девальвации душевных ценностей человеческого бытия, незначительного по сравнению с макрокосмосом. Подняв в этом отражении любовь в небеса («на озарённый потолок ложились тени»), Пастернак как бы изолирует величие свободного полёта чувств от страха, нагнетаемого навязанным режимом. С помощью отражения монументальность возвышающего чувства вспыхнувшей и осуществляемой любви и соединённая в объятиях пара на короткое мгновение возводятся в один ранг с макрокосмосом: с вечностью невообразимой и неохватной вселенной; с сиянием предполагаемого, однако существующего вне нашего сознания Бога и его всепроникающей властью над нашей жизнью, нашими мыслями и поступками.

Итак, брошенные на потолок тени символически сплетающихся крестообразно мужчины и женщины, а в более широком смысле – тени скрещенья судеб, и символизирующее жизнь пламя свечи намекают трёхкратным повторением слова «скрещенье» на присутствие Бога, на отражающийся в любовной эвфории образ Христа.

«Мы заметили уже, как решено сюжетное действие (любовный сюжет) в «Зимней ночи»: ряд превращений свечи, чередой её иностасей. Это то, что происходит в доме. Да и самый дом возникает черта за чертой, выделяясь (проступая) из метели: «оконная рама», «стекло», выделяясь из свечи: «стол», «потолок», «пол», «угол». Образы являются из неких двух начал – и к ним же возвращаются, исчезая. Вот в каком смысле сказано было выше что в «Зимней ночи» всё превращается во всё; не в отдельных превращениях суть и не в том, сигнализируются нам эти превращения метафорически или нет, – а суть в самом духе метаморфозы, в общем её духе, пронизывающем произведение. Свеча горит непрерывно – с начала до конца «Зимней ночи». Но в самом утверждении этой непрерывности, в многократном одержимо настойчивом повторении: «свеча горела» – есть некая прерывность. Образ всякий раз вызывается как бы заново. Свет опять и опять прорывается из тьмы. В последней строфе эта прерывность выражена непосредственно»⁵⁶:

«Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.»

«В образной структуре, которую рассматриваем мы, «Февраль» входит в «Зимнюю ночь», а не наоборот. С начала стихотворения до конца свеча горит именно так: *то и дело*. Свет как бы пульсирует в «Зимней ночи». Это жизнь, непрестанно поглощаемая небытием и непрестанно возрождающаяся вновь. Это и есть прерывность в непрерывности. В этом – смысл тайных и чудесных превращений. Это – *творящаяся* метаморфоза. Вещь исполнена драматического напряжения. На диво лёгкая по звучанию, по движению стиха, по всем своим незримым, невесомым конструкциям – «Зимняя ночь» отмечена неким общим усилением. Оно выражено всей энергией ритма. Оно – в исступлённом упорстве рефрена. Оно – в фантастическом сопротивлении одной («малой») стихии натиску другой («великой»): *мело, мело – горела, горела*. Таков общий план стихотворения. И то же самое в плане подробном:

«На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.»

Дуло – вздыхал. Это крестообразное вздыхание – то же самое усиление; назовём его, цитируя Пастернака, усилением воскресенья.⁵⁷

Обволакивание – наслаивание одного понятия на другое; власть Создателя над физическими законами бытия; смерти над жизнью, как перехода к иному бытию. Скрытая форма *обволакивания* – это воссоздание прошедшего как реальности, сна – как действительности.

«Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой. (...)
И вы прошли сквозь мелький, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник. (...)
В лесу казённой землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо моё умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.»⁵⁸

Ночью Преображения Господня приснится лирическому «я» собственная смерть, когда «свет без пламени / Исходит в этот день с Фавора»; лирическое «я» само произносит траурную речь у гроба со своим телом. И в утешение высказывается пожелание: «Смягчи последней лаской женскою / Мне горечь рокового часа». Подобно *Вийону*, он сладко-горько прощается с «годами безвременщины», с «безднами унижений» и заканчивает стихотворение библейским благословением, по-пастернаковски суммируя целостность земного бытия обволакиванием его собственной смертью:

«Прощай, размах крыла расправленный,
Полёта вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворчество.»⁵⁹

Обволакиванием мы называем также приближение возможной катастрофы, ощущение страха, угрозы, побега откуда-то куда-либо, предчувствие смерти, чувство придавленности и боязнь преследования.

В стихотворении «*Весенняя распутица*» скрытый смысл обволакивания не очевиден при восприятии картины-схемы на уровне её комплексности. В первой строфе выявимы те же реалистические координаты пространства и времени, что и в вышеупомянутых стихотворениях романа. Разница только в нюансах: образы «гул затих», «лес раздет и непокрыт» и «ночная мгла» сменяют «пожар заката»; «подмостки» или «вселенную» – географически конкретное указание «на Урале»; «март», «Пасху» или «зимнюю ночь» – «весенняя распутица»; «Гамлета» или влюблённую пару – одинокий всадник. Поэтическая картина выглядит статичной, несмотря на то, что – «тащился человек верхом». Неподвижность образов «огни заката догорали» и «в бору глухом» как бы сдерживает динамику движения всадника.

Одновременно поэтический образ «глухой бор», делающий среду отвлечённой, выступает контрапунктом *пластическому контакту* картины, представляющейся реалистической. Мы не можем сказать, откуда конкретно выехал всадник и только можем догадываться о том, куда он направляется: «в далёкий хутор на Урале».

Во второй строфе внимание концентрируется на беге лошади, подковам которой «вторила в догонку / Вода в воронках родников»: создаётся впечатление гармонии по

сравнению с диссонансом первой строфы. Таинственная тишина ожидания первой строфы сменяется доминантностью звуковых эффектов («звон шлёпавших подков» и журчание «воронков родников»), а параллельно с ними – динамикой движения («болтала лошадь селезёнкой»). Несмотря на свою конкретность и объективность картина не даёт ответа на вопросы, невольно возникаемые в первой строфе: куда же держит путь всадник на фоне весеннего заката в глухом уральском бору. Противопоставленные друг другу половины третьей строфы убедительно показывают, что таинственная природа отнюдь не является идиллической союзницей лирического «я», напротив – «гул и грохот» половодья почти угрожают его бытию.

Ощущение страха и угрозы, побег откуда-то куда-либо в стихотворении почти не объясняются. Более того, можно говорить об обволакивании чувств и души всадника силами природы, выступающими для него в роли противника. Ощущение придавленности и преследования становится явным – опять же только на уровне условности – в последующих смысловых единицах: отчасти в связи с таинственным плачем и смехом («смеялся кто-то, плакал кто-то»), отчасти в связи с разыгравшейся природной стихией («Крошились камни о кремни, / И падали в водовороты / С корнями вырванные пни»). Именно такое восприятие картины усиливается экспрессивным цветовым и звуковым воздействием («пожарище заката», «в далёкой прочерни ветвей», «гулкий колокол набата»), но прежде всего – появлением фольклорной фигуры соловья-разбойника, посвистывающего «на семи дубах».

Чувственная атмосфера смеха и плача, цветовая символика «пожарища заката» и «далёкой прочерни ветвей»; неистовство соловья, усиливающееся и параллельно развивающееся с буйством природной стихии, контрапунктом которой выступают лишь «с корнями вырванные пни» в водоворотах, – всё это намекает на разыгрывающуюся в душе лирического «я» драму, на побег откуда-то куда-либо, на возможность наступления катастрофы.

Однако описание катастрофы, драматического столкновения оттягивается Пастернаком поэтическими вопросами. Расширяя в чувственном и философском плане, до определённой степени обобщая взаимосвязанность и взаимообусловленность стихотворного контекста, эти вопросы вскрывают иной ряд противоречий («беда» – «зазноба» – «пыл»), тонко намекают на предопределённость судьбы всадника («предназначался этот пыл») и усиливают инстинктивный страх героя («В кого ружейной крупной дробью / Он по чашобе запустил?»).

После этих вопросов уже очевидным становится обволакивание образа мирно скачущего всадника природной стихией и соловьём-разбойником, угрожающе представшем из фольклора. И это обволакивание настолько полно, что в предпоследней строфе невозможно даже определить: всадник или соловей-разбойник «выйдет лешим / С привала беглых каторжан / Навстречу конным или пешим / Заставам здешних партизан»? Вопрос остаётся открытым и в том случае, когда, углубившись в страницы романа, мы установим, что Юрий Живаго, возвращаясь⁶⁰ на лошади в Варыкино, попадает в плен к партизанам.

Таким образом, в предпоследней строфе в наименьшей степени семантизируется сущность лирического «я»; в ней как бы отсутствует связь с текстом (находимая только в романе): да, пожалуй, и нет в том надобности, как и в завершающей строфе стихотворения «Гамлет».

Однако, вполне однозначно, что судьба героя несёт на себе печать неимоверной смерти.

Заключение стихотворения представляет собой идейное обобщение связи человека и природы, включающее в себя равновесие конкретных предметностей природы и мира человеческих мыслей и чувств, а также уравновешенность внутрстихотворных понятий. Можно говорить даже о некоей гармонии, в которой находится место для осуществления принципа закономерности, начертанной Богом. Эти уравновешенность и гармония завершаются в форме свойственного Пастернаку реестра:

«Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.»⁶¹

Не получаем мы никакого объяснения и тому, что это за «редкий звук»: шум вешних вод, мистический смех и плач, разгул природной стихии, трели соловья-разбойника или треск винтовочных залпов? Или же всё обобщается и обволакивается этим определением «редкий»? Метафора «леший» из предыдущей строфы намекает, что речь идёт о неистовой песне соловья-разбойника. Это подкрепляется ещё и тем, что мотивам «безумья», «боли» и «мук» противостоит одно-единственное положительное понятие – «счастье». И если это так, то заключение стихотворения – вопреки всей его философской обобщённости – раскрывает панораму 50-х годов; неизбежную

смерть, поджидающую ничего не подозревающего всадника, попавшего в плен к партизанам.

Бессмертие, воскресение и метаморфоза входят в основную тему позднего творчества Пастернака. Образы свечи в «*Зимней ночи*» и звезды в «*Рождественской звезде*» непосредственно и принципиально схожи, так как и свеча, и звезда горят в ограниченном и одновременно в неограниченном пространстве. Принципиальность этой аналогии выводится непосредственно из точки зрения автора «*Рождественской звезды*»:

«И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все ёлки на свете, все сны детворы.»⁶²

Речь идёт о суммирующем лирическом произведении (*arg poetica*), поэтому все *реальные контакты* (дарение, родство, обволакивание, озарение, отражение, зацепление, оставление следа, проникание, приникание) и *контакты-партнёры* (дом – внешний мир, временное – вечное, земля – небо, близкое – далёкое, человек – макромир) по *Жолковскому*⁶³ находятся в нём.

Прочитированные выше строки не только воспроизводят облечённый в лирическую форму библейский фрагмент рождения младенца Иисуса (*родство*), но и намекают на связь поэзии Пастернака с фольклором, ритуалом, мифом. Сказочным и мистическим веет от этих строк, как и от всего стихотворения в целом. Эта связь конкретна, фигуративна, почти лишена отвлечённости, насыщена вещественными образами – зримыми, слышимыми, осязаемыми, осязаемыми. Связь эта одновременно антропоморфизирует природу и вещи.

Универсальный приём поэтики Пастернака – *прозопопея*⁶⁴. Большинство ассоциаций поэта только на первый взгляд выглядит случайным, в действительности же они располагаются вдоль силовых линий мифологического ощущения мира, поэтому наряду с конкретностью стихотворного описания можно говорить об этнографически точном отображении. Эти замечания, не опровергнутые до сих пор развитием этнографической науки, были в своё время сделаны *Леви Брюлем*. Он отметил, что для первобытного мышления не существует случая: внешне случайное непременно имеет некий скрытый смысл.⁶⁵

Даже поверхностный обзор библейского материала, положенного в основу «Рождественской звезды», свидетельствует об устойчивом внимании поэта к фольклорным и мифологическим источникам искусства слова, глубокое их осознание. Стихотворное время представляет собой не линейный поток, а циклическое развитие, поскольку каждое мгновение – неповторимо. В этой поэтической системе поступательное движение времени не является релевантным: «Смотрели с утёса / Спросонья в полночную даль пастухи»; «Вдали было поле в снегу и погост, / Ограды, надгробья, / Оглобля в сугробе, / И небо над кладбищем, полное звёзд»; «А рядом, неведомая перед тем, / Застенчивей плошки / В оконце сторожки / Мерцала звезда по пути в Вифлеем»⁶⁶ (близкое – далёкое, зацепление, обволакивание). Нерелевантным можно назвать и развитие во времени образов приносящих дары трёх королей, приближающихся верхом на ослах (дарение). Второстепенную роль с точки зрения ощущения бега однолинейного времени играют идущие «вдоль запруды ослы и верблюды», «пастухи», входящий «кто-то с навьюженной снежной гряды всё время незримо», а также – шествие «нескольких незримых, бестелесных ангелов в гуще толпы по той же дороге, чрез эту же местность»⁶⁷ (оставление следа).

Момент рождения Иисуса Христа относится ко времени зимнего солнцестояния, циклически повторяющегося каждый год. Стихотворное время сопровождается той же циклическостью. Стихотворение начинается так, будто время навеки останавливается в торжественный и неповторимый момент рождения Богочеловека, процесс которого ещё только косвенно намекается циклической сменой предметных, пейзажных и понятийных образов и картин, географических названий, мистического и таинственного присутствия земного человека и потусторонней власти, воплощающих микро- и макрокосмос (человек – макромир):

«Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согривало дыханье вола...
... Доху отряхнув от постельной трухи
И зёрнышек проса,
Смотрели с утёса
Спросонья в полночную даль пастухи.

... Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога»⁶⁸ (озарение, дом - внешний мир, земля - небо, близкое - далёкое, человек - макромир, обволакивание, проникание).

Время стоит. Первая треть стихотворения информирует нас только о полночи, зиме, зябнушем младенце «среди целой вселенной, встревоженной этой новой звездой» (знакомство/родство). Но вот в стихотворение вступает конкретное время (путь звезды по небу мы не включаем в рамки конкретного времени!) в образе «трёх звездочётов», которые «спешили на зов небывалых огней» (зацепление). В остановившемся потоке отвлечённого времени и до этого являлись перед нами наслаивающиеся друг на друга предметности и явления неба и земли, подчёркивая пейзажные образы (отражение), олицетворённые волшебством неповторимости момента Рождества Христова: «смотрели в полночную даль», «неведомая перед тем, застенчивей плошки в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем», «среди целой вселенной, встревоженной этой новой звездой» (зацепление). Необходимо ещё добавить, что «среди переживаний, нашедших место в произведении, важное место занимает космогонический комплекс» в циклических изменениях времени (обволакивание, временное - вечное). «Слова и образы контекста суть знаки прошедших (библейских, мифических, фольклорных и сказочных - Й. В.) мыслей и представлений, глубинный смысл которых уже невозможно воссоздать.»⁶⁹

И тогда естественно и закономерно наступает пастернаковское подведение итогов, выявляется поэтический реестр, характеризовавший и до этого упомянутые выше стихотворения, который поднимает замершее и циклически меняющееся время на плоскость сказочности, то есть превращает его в фольклорное время: «все мечты, все шалости фей, все дела чародеев, все ёлки на свете, все сны детворы» (дарение).

Христос родился. Поэт проецирует перед нами картину будущего праздника Рождества, пронесённого христианской культурой на протяжении двух тысяч лет, опирающегося на воображаемые, но уже не вполне воспроизводимые события прошлого, черпая сказочные предметности и явления из Библии и фольклора:

«Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Всё великолепье цветной мишуры...
...Всё злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.» (дарение)

Часть пруда скрывали верхушки ольхи, (обволакивание)
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнёзда грачей и деревьев верхи. (отражение)
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи. (озарение)

- Пойдёмте со всеми, поклонимся чуду, -
Сказали они, запахнув кожихи.»⁷⁰ (зацепление)

Помимо циклического и фольклорного времён, мифа и сказочности весьма важную роль играют перечисленные в стихотворении имена. «Имена для поэта в такой мере суть знаки вещей, что процесс называния ассоциируется с процессом воссоздания и даже создания мира... В другом стихотворении выступает мотив табуирования имён, связанный с мотивом наименования (переименования) как сотворения (претворения) мира. Отсюда и заглавие «Без названия»: мир, вещи ещё без названия, ещё не созданы. Их предстоит воссоздать в процессе наименования. В «Охранной грамоте» Пастернак прямо связывает детское счастье познания природы с радостью наименования явлений.»⁷¹ Космогонический акт как процедура создания первовещей путём их называния присутствует в ряде индоевропейских и неиндоевропейских мифологий. В ходе обряда боги «произносили имена всевозможных предметов и живых существ, которые тотчас же по названию обретали бытие»⁷². «Для Пастернака называние вещей в поэзии есть творение поэтической вселенной. Предметы, чувства изображаются словно впервые. Так, как они увидены и показаны, они увидены и показаны действительно впервые, в этом состоит родство с мифом. ... Миф как область первопредметов, перводействий, первопечатлений⁷³ во многом гомоморфен становящемуся миру ребёнка. У поэта с выраженными чертами мифологического мировосприятия мы вправе ожидать черт мировосприятия специфически детского.»⁷⁴

Стихотворение построено на этом как структурно, так и тематически и психологически. Процессы и предметы мы видим глазами ребёнка. Согретый дыханием вола ребёнок воспринимает животное как воплощение доброты и любви, как символ жизни и её защиты (родство). Так же, как зима и ветер из степи

символизируют смерть и угрозу жизни. Пусть не сознательно, но инстинктивно всё это чувствует и переживает младенец Иисус. Звёздное небо и одна, застенчивая в начале, а затем пламенеющая подождённым стогом звезда помогают читателю осознать Бога и рождение его Сына (*озарение*). Все сны детворы, все шалости фей, все дела чародеев, все цепи, всё великолепье цветной мишуры, все яблоки, все золотые шары, три звездочёта-короля верхом на ослах, ангелы, погонщики и пастухи (*дарение*), – всё это является элементами и образами сказочного мира детей, мифа, праздника Рождества. И заключающее стихотворение сияние («Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба») (*проникание*), «звезда Рождества», которая «с порога смотрела на Деву» (*проникание*), демонстрируют бесконечность космоса, ось мира (*земля – небо*), разгадку чуда и тайны: всемогущество и безграничную любовь Бога, красной нитью прошедшие от начала до конца стихотворения.

- 1 **А. Szilágyi:** Borisz Paszternak "objektív" lírája. («Объективная» лирика Бориса Пастернака). Vság, 1979. 7. 41. p.
- 2 там же, 41. p.
- 3 там же, 43. p.
- 4 **Л. Я. Гинзбург:** О лирике. Изд. 2-е. Л., Сов. пис., 1974, с. 352-353.
- 5 **А. Szilágyi:** там же, 43. p.
- 6 **Л. Я. Гинзбург:** там же, с. 349.
- 7 **Б. Л. Пастернак:** Охранная грамота. Л., 1931, с. 60.
- 8 Ср.: О функции «вещей» в лирике Пастернака писал Ю. Н. Тынянов в статье «Промежуток» (1924).
- 9 **Л. Я. Гинзбург:** там же, с. 350.
- 10 «Новый мир», 1967, № 1, с. 211.
- 11 **Б. Л. Пастернак:** Март. В кн.: Б. Пастернак: Стихотворения и поэмы. Т. 1-2. Л., Сов. пис., 1990. Том 2, с. 56.
- 12 там же, с. 57-72.
- 13 **А. Szilágyi:** там же, 43. p.
- 14 **С. М. Вовра:** Az alkotó kísérlet. (The Creative Experiment). Bp., 1970. Eu, 182.
- 15 **А. К. Жолковский:** Место окна в поэтическом мире Пастернака. В журн.: Russian Literature, 1978. VI. 1., с. 8.
- 16 **Л. Я. Гинзбург:** там же, с. 349.
- 17 там же

- 18 L. Jagusztin: Ember a világban - világ az emberben
(Человек в мире - мир в человеке). В кн.: Произведения в
критике, X, Б. Пастернак: Доктор Живаго. 272 p.
19 там же
20 Б. Л. Пастернак: Гамлет. Там же, с. 56.
21 Б. Л. Пастернак: Гефсиманский сад. Там же, с. 86.
22 L. Jagusztin: там же, 272. p.
23 там же
24 Б. Л. Пастернак: Гефсиманский сад. Там же, с. 86.
25 L. Jagusztin: там же, 273. p.
26 Б. Л. Пастернак: Земля. Там же, с. 80.
27 А. К. Жолковский: там же, с. 8.
28 А. Якобсон: «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака.
Иерусалим, с. 312.
29 там же, с. 316-318.
30 Б. Л. Пастернак: На Страстной. Там же, с. 57-58.
31 Б. Л. Пастернак: Гамлет. Там же, с. 56.
32 Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета.
Библейские общества, ?, Новый Завет, с. 57.
33 Сурен Золян: «Вот я весь...». Даугава, Рига, 1988, № 11,
с. 101.
34 Б. Л. Пастернак: Гамлет. Там же, с. 56.
35 Библия. Новый Завет. Там же, с. 33.
36 Ср.: Библия. Там же, с. 57.
37 Ср.: Shakespeare, W.: Összes drámái. (Все драмы) I-IV.
Bp., 1988. Eu. III. 467. p.
38 Б. Л. Пастернак: Март. Там же, с. 56.
39 Б. Л. Пастернак: Объяснение. Там же, с. 61.
40 Б. Л. Пастернак: Зимняя ночь. Там же, с. 72.
41 А. Якобсон: там же, с. 304-305.
42 А. Якобсон: там же, с. 305-306.
43 Б. Л. Пастернак: Разлука. Там же, с. 72.
44 там же, с. 72-73.
45 Б. Л. Пастернак: Чудо. Там же, с. 78.
46 там же, с. 78-80.
47 там же, с. 80.
48 Библия. Новый Завет. Там же, с. 25.
49 Б. Л. Пастернак: Чудо. Там же, с. 80.
50 там же
51 А. К. Жолковский: там же, с. 25-26.
52 Б. Л. Пастернак: Земля. Там же, с. 80-81.
53 там же, с. 81.
54 Б. Л. Пастернак: Разлука. Там же, с. 73.
55 Б. Л. Пастернак: Зимняя ночь. Там же, с. 71-72.

- 56 А. Якобсон: там же, с. 306-307.
57 там же, с. 307-308.
58 Б. Л. Пастернак: Август. Там же, с. 70-71.
59 там же, с. 71.
60 Ср.: Б. Л. Пастернак: Доктор Живаго. М., Сов. Рос., 1989.
61 Б. Л. Пастернак: Весенняя распутица. Там же, с. 60-61.
62 Б. Л. Пастернак: Рождественская звезда. Там же, с. 76.
63 А. К. Жолковский: там же, с. 22.
64 См.: D. L. Plank: Pasternak's Lyric. The Hague-Paris, 1966. Mouton and Co., 91. p.
65 L. Levy-Brulles: Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., ОГИЗ, 1937, с. 51.
66 Б. Л. Пастернак: Рождественская звезда. Там же, с. 75.
67 там же, с. 75-77.
68 там же, с. 75.
69 В. С. Бабаевский: Миф в поэтическом сознании и лирике Пастернака. Известия АН СССР, Серия лит. и языка. Том 39, № 2, 1980, с. 120.
70 Б. Л. Пастернак: Рождественская звезда. Там же, с. 76.
71 Об этом см.: O. R. Hugues: The Poetic world of Boris Pasternak. Princeton University Press, 1974. 50. p.
72 W. N. Brown: Индейская мифология. В кн.: Мифология древнего мира. М., Наука, 1977, с. 289.
73 Е. М. Мелетинский: Поэтика мифа. М., Наука, 1976, с. 173.
74 В. С. Бабаевский: там же, с. 120-121.

Critica et Bibliographia

Памяти Якова Исааковича Штернберга (1924-1992) In memoriam Váradi-Sternberg János

Историк **Váradi-Sternberg János** (в русскоязычных публикациях: Яков Исаакович Штернберг) родился в городе Nagyvágad (Орадя, Румыния), 10-го января 1924 г. В родном городе он учится в еврейской начальной школе, потом в гимназии. 10-й класс средней школы в 1940-41-ом году он заканчивает уже в бессарабском городе Бендеры, попавшем под советскую власть. В 1941-42 г. он работает помощником тракториста на Северном Кавказе, на Кубани, в 1942-43 г. колхозным трактористом в Средней Азии, в Киргизии. В 1943 г. он поступает в Кишиневский педагогический институт, эвакуированный из-за войны в южно-уральский город Чкалов (с 1958 г. снова Оренбург). В 1944-46 г. он учится в Кишиневе. Отсюда переходит, снова на третий курс исторического факультета Ленинградского университета, который заканчивает в 1949 г. С 1949 по 1989 г. он является ассистентом, доцентом, потом профессором Ужгородского университета. В 1989-90 г., уж пенсионером, он работает старшим научным сотрудником Советского хунгарологического центра в Ужгороде.

В 1956 г. в Киеве, в Академии наук УССР он защищает кандидатскую диссертацию по теме: Освободительная война Ференца Ракоци и русско-венгерские контакты в 1707-11 гг. В 1970 г. в Ленинградском (с 1991 г. снова Санкт-Петербург) Педагогическом институте им. Герцена проходит защита его докторской диссертации о контактах между Россией и Венгрией с 1849 по 1904 гг. Он опубликовал много научных и популярных статей, первым обратившись к первоисточникам, по вопросам

русско-венгерских и украинско-венгерских исторических, литературных и культурных связей, а также по истории Закарпатья (Kárpátalja). В 1989 г. его наградили орденом Звезды Венгерской Народной Республики, а в 1991 г. медалью памяти Яноша Лотца. Из его четырех книг, в совместном издании, две опубликованы и в Будапеште: *Utak, találkozások, emberek* (Дороги, встречи, люди) в 1974 г., *Századok öröksége* (Наследие веков) в 1981 г.

Варади-Штернберг очень дорог нам по многим причинам. Этот невысокий, хрупкий, с волнистыми, редеющими седыми волосами, с тревожно-доверчивым взглядом, застенчиво улыбающийся человек беспокойной судьбы, этот часто униженный, проживший свою жизнь в бедности венгерский ученый еврейского происхождения был всегда осторожным, но трусом никогда. Это был честный, трудолюбивый, высокообразованный исследователь, самозабвенно преданный венгерской науке и культуре. В Венгрии его можно сравнить, пожалуй - и по выбору тем, и по душевному складу - с Лайошем Тарди (Tardy Lajos), недавно умершим, выдающимся историком культуры, литературы и связей между народами России и Венгрии, репрессированным в 50-ые годы.

В свое время в Кишиневе молодой Штернберг на конкурсах отличался знанием языков: кроме родного венгерского он овладел румынским, французским, латинским, немецким, идиш, а также русским и украинским языками. В Ленинграде он был любимым учеником известного историка, академика Евгения Тарле. У него он научился тому, что главным залогом глубины исследований должно быть кропотливое собирание достоверных фактических материалов. Поэтому большую часть жизни он проводил в архивах, от Львова до Москвы, от Тарту до Берегова (Beregszász). (Впрочем, два труда Тарле - "Наполеон" и "Талейран" - в 60-ые годы в Венгрии имели огромный успех и вышли, первый - в пяти, а второй - в трех изданиях.)

Ужгородский журналист Габор Эрдели (Erdélyi Gábor) писал еще в 1983 г.: "Варади-Штернберг постоянно ходит по дорогам, по которым наши национальные культуры в прошлом всегда искали друг друга. Он шупает, каким образом встречались политические стремления наших народов, их духовные потребности, обоюдные симпатии, жажда прогресса. Художественная литература, наука, политика, культура; изо всех этих областей он черпает (...) свои темы, показывающие помимо богатой вариантности одно: что было общим в духовной жизни XVIII-XIX вв. и для русских, и для украинцев, и для

венгров; то, что мы брали из культурных, духовных и политических ценностей друг у друга." "Почти каждая его статья излучает актуальный урок: хорошие отношения могут основываться лишь на взаимности, без взаимного согласования интересов и точек зрения не может быть ни доверия, ни настоящей дружбы."

В конце жизни, за два года до смерти, нелегкая судьба подарила Варади-Штернбергу радость. Ученый дожил до счастливого дня: в 200-х шагах от его квартиры, на ужгородской площади осенью 1990 г. президент Венгерской Республики, в сопровождении киевских и местных представителей украинской государственной власти открыл замечательную статую Шандора Петефи, вечного кумира историка, работы венгерского скульптора Бени Ференци (Ferenczy Béni).

Я был рядом с ним и в августе 1991 г., когда он в г. Сегеде наконец-то мог высказаться с гневом о печальном состоянии "закарпатской" венгероязычной научной жизни, находившейся десятилетиями под контролем КГБ, назвав поименно недостойных.

Во время поездки по стране - на ветреном, изумрудном поле легендарного Пустасера, где состоялось первое государственное собрание венгров, и в Кискереше (Kiskőrös), в родном городке Петефи; и во величественном католическом соборе в г. Калоче - я замечал светлую, тихую радость на его лице. Все это он первый раз увидел в 67-илетнем возрасте... Сидели вместе в Сегеде, на берегу Тисы, за накрытым столом, задумчиво разговаривая августовским вечером: венгры из Будапешта, Трансильвании, Дебрецена, "Подкарпатья". А на другой день аплодировали ему, поздравляли его, приветствовали тремя цветочками солнечного цвета, когда на пленарном заседании всемирного конгресса хунгарологов, смущенно спотыкаясь, он подошел к трибуне и получил медаль памяти великого американского венгерского ученого, Яноша Лотца, умершего в 1973 г.

Был я рядом с ним и в октябре 1991 г., в только что реставрированной капелле ужгородской крепости, на праздничном концерте по поводу вручения призов впервые состоявшихся Дней искусства подкарпатских венгров. Я передал ему, что он приглашен филологическим факультетом Дебреценского университета прочитать лекции в нашем Институте славянской филологии, что мы готовимся встретить его. Но тяжелое обострение болезни сердца вмешалось...

Последний раз мы виделись в конце ноября в интенсивном отделении одной будапештской больницы. Он надеялся на выздоровление: попросил меня передавать в Ужгороде, что ему уже лучше, что уже выздоравливает. 28-го января 1992 г. он еще похоронил жену, умершую от рака, а 12-го февраля, в 11 часов утра остановилось и его время: гонимое, уставшее сердце перестало биться.

Л. М. ТАКАЧ

Nowe książki węgierskiego instytutu kultury

Stało się niejako zasadą, iż na ogół uwagę recenzentów zwracają publikacje większych oficyn wydawniczych. Tymczasem nasz rynek księgarski wzbogacił się o kolejną książkę wydaną pod egidą Węgierskiego Instytutu Kultury pod tytułem *Polscy pisarze-uchodźcy a Węgry*. Wyobrażenie o literaturze węgierskiej i motywach węgierskich w literaturze polskiej mamy, sędzę, niezbyt wielkie. Przyczyną tego stanu jest zapewne i fakt, że wszystko co dotyczy kultury naszych bliskich sąsiadów, ukazuje się w nader niewielkich nakładach. Może więc i warto przypomnieć poprzednią publikację tegoż Instytutu, notabene będącą wydaniem jubileuszowym powstałym z okazji 40-lecia WIK a noszącą tytuł *Polskie głosy o kulturze węgierskiej*, tym bardziej że łączy je osoba redaktora naukowego - doc. dra Istvána Molnára - filologa, historyka literatury polskiej (absolwenta UMCS), autora licznych prac z zakresu interpretacji, komparatystyki i recepcji literatury polskiej na Węgrzech.

I tak pierwsza (chronologicznie) wspomniana książka sygnowana datą 1988 roku to zbiór prac prezentujących różne dziedziny kultury węgierskiej - literaturę, teatr, plastykę, muzykę i kinematografię. Nie zabrakło tutaj także interesującego studium J. Snopka o dominantach recepcyjnych i uwarunkowaniach odbioru literatury węgierskiej w Polsce. *Wszystkie szkice popularnonaukowe zamieszczone w niniejszej publikacji - jak czytamy w posłowiu I. Molnára - mają charakter syntetyczny...* Uwagę zwracają studia poświęcone artystycznym aspektom translacji utworów węgierskich. A. Nawrocki, autor trzyczęściowego studium pt. *Zapiski tłumacza*, daje ciekawy genologiczny wykład o sonecie w liryce węgierskiej, przedstawia własne dywagacje związane z tłumaczeniem poezji węgierskiej, egzemplifikując je przykładem wiersza Petőfi'ego pt. *Szeptember végén* (*Przy końcu września*). Część trzecią pracy stanowi niejako sprawozdanie z wizyty u Gyuli Illyésa. Równie intersubiektywny charakter noszą refleksje T. Nyczka i M. Dobrowolnego o problemach związanych z przekładem dramatu György Schwajdy pt. *Hymn*. Korespondują z nimi uwagi o historii dramaturgii węgierskiej, traktujące również o istotnych czynnikach rozwojowych współczesnego teatru.

Obok tłumaczy - M. Dobrowolnego, A. Nawrockiego, A. M. Rutkowskiego - autorami pozostałych prac są wybitni znawcy swego przedmiotu: prof. I. Csapláros - historyk literatury i tłumacz, doc. W. Jankowski - dyr. Instytutu Pedagogiki Muzycznej AMFC, dr T. Nyczek - krytyk teatralny, dr J. Nowak - publicysta, dr J. Snopek - historyk literatury, dr Z. Taranienko - dyr. Galerii Studio, K. Stanisławski - redaktor czasopisma *Sztuka*. Zapewniło to publikacji ogromną rozległość tematyczną i właściwy poziom merytoryczny.

Wartość poznawczą tomu podnosi również przygotowana przez I. Csaplárosa *Bibliografia przekładów z literatury węgierskiej wydanych w Polsce w latach 1945-1988*, będąca uzupełnieniem poprzedniej publikowanej w broszurze z roku 1983 oraz B. Borkowskiej i M. Dobrowolnego *Bibliografia sztuk węgierskich na polskich scenach 1944-1988*.

Integralną część prac autorskich stanowią ilustracje imprez kulturalnych zorganizowanych przez Instytut w ostatnich latach. Całość powiązana posłowiem tworzy więc uniwersalne compendium wiedzy o najważniejszych przejawach węgierskiego życia kulturalnego w Polsce.

Następna z prezentowanych tu książek różni się znacznie od już omówionej. Druga daje wybór tekstów polskich pisarzy i poetów związanych losem tułacza z krajem nad Dunajem i Cisą. Zawsze dyskutować można na ile pomieszczone utwory są reprezentatywne, na ile ich dobór jest trafny, ale faktem jest i to, iż polski czytelnik tego typu wydawnictwo otrzymuje po raz pierwszy.

Zakrojony szeroko tematycznie tytuł sprawił, iż w księdze znalazły się utwory K. Iłłakowiczówny, T. Frangrata, T. Sokoła, S. Vincenza, L. Kaltenbergha, A. Bahdaja, J. Lovella, J. Rychlewskiego, K. Koźniewskiego oraz J. Prokopa.

Chronologicznie jest to atrakcyjny okres penetracji naszej literatury, przy czym wyjątkowo rozległy, bo obejmuje lata od września 1939 do roku 1980. Zaletą tomu jest także jego różnorodność pod względem genologicznym; autor zamieścił w nim wiersze, fragmenty wspomnień, powieści i reportaży oraz opowiadania i eseje. Włączone do antologii dzieła (...) zostały zapomniane lub - ze względów polityczno-ideologicznych - skazane na długie zapomnienie - czytamy w eseju I. Molnára. Dlatego uważamy, że nawet ich urywkowa prezentacja może przynieść korzyści.

Autor z pasją i ogromnym znanstwem poszukiwał wszelkich śladów węgierkości w naszej literaturze. W centrum jego

zainteresowań znalazł się głównie polski dorobek literacki okresu międzywojnia i lat powojennych, aczkolwiek nie zabrakło odniesień i do literatury wcześniejszej. Efektem tych kilkuletnich badań stał się właśnie zaprezentowany w eseju katalog tematów, motywów, aluzji, nawiązań i elementów węgierskich w naszym piśmiennictwie. Ten syntetyczny szkic wzbogacony jest dodatkowo o krótką genezę i prezentację poszczególnych utworów. Rzeczowość wywodu poparta została wykazem utworów literackich uchodźców polskich na Węgrzech oraz opracowań naukowych analizujących sytuację polskiego uchodźstwa na Węgrzech. Już tylko na marginesie zaznaczymy, iż na końcu publikacji zamieszczono streszczenie eseju w języku węgierskim.

Anonsowane tu dwie książki zawierają więc podstawowe informacje dotyczące polsko-węgierskich związków kulturalnych. Bogactwo treści przy popularnej formie wykładu sprawia, iż po publikacje te na pewno sięgną miłośnicy literatury polskiej jak i węgierskiej.

Skoro jesteśmy przy wydawnictwach WIK dodajmy, iż w roku 1990 ukazała się również pod redakcją I. Molnára pozycja pt. *Węgrzy, Polacy a ich sąsiedzi*. Jest to książka o wyjątkowej nośności intelektualnej i de facto stanowiąca pokłosie zorganizowanej przez Instytut 11 marca 1983 r. sesji poświęconej 140 rocznicy węgierskich walk wolnościowych 1848/49 roku oraz prezentacji trzypięciotomowej monografii o Siedmiogrodzie. Natomiast druga część referatów pochodzi z posiedzenia Polsko-Węgierskiej Komisji Historycznej z 30 maja 1989 r. Książka z pewnością warta jest osobnego omówienia.

Polskie głosy o kulturze węgierskiej pod redakcją Istvána Molnára, Wydawnictwo Węgierskiego Instytutu Kultury, Warszawa 1988, s. 143

Polscy pisarze-uchodźcy a Węgry pod redakcją Istvána Molnára, Wydawnictwo Węgierskiego Instytutu Kultury, Warszawa 1991, s. 206

A. SPRAWKA

Мария Санчес Пуиг: Художественные средства на службе авторской идеи (на материале произведения А. Зиновьева "Зияющие высоты")

Работа Марии Санчес Пуиг посвящена сатирическому произведению А. Зиновьева «Зияющие высоты». При чтении «Зияющих высот» по мере того, как читатель углубляется в текст, постепенно должен замедлять темп чтения, чтобы понять каждое слово, и проникать в его подтекст, носящий суть произведения. «Зияющие высоты» нелёгкое чтение. Сложность текста заключается в том, в какой форме рассказывает автор о своей теме. В произведении главную роль играют художественные средства, которыми пользуется автор, но не менее важно и то, как это влияет на читателя. В произведении нет случайных слов, лишних точек, синтаксических оборотов, они все – именно в данной форме – связаны с подтекстом. Непрестанные поиски этого скрытого значения создают у читателя такое впечатление, будто он читает одновременно две книги.

Мария Санчес Пуиг из художественного арсенала писателя обратила внимание прежде всего на структуру произведения, слои, на которые оно распадается. Одновременно она изучает и те языковые средства, которые автор использует для выражения и передачи своего замысла читателю. Эти средства могут быть лексическими, синтаксическими, морфологическими, фонетическими, общестилистическими и композиционными.

Первая часть работы посвящена изучению структуры произведения. «При первом чтении «Зияющих высот» – пишет исследовательница – композиция произведения кажется чрезвычайно сложной. При внимательном ее изучении она оказывается еще сложнее.» Чтобы облегчить постижение произведения, она дает Схематическое изображение композиции романа (стр. 5). Графическое изображение – которое сделано очень остроумно – действительно помогает разобраться в теме.

Отдельная часть работы занимается местом и ролью стихотворений в «Зияющих высотах». По мнению Марии Санчес Пуиг они пользуются писателем, как субъективно-оценочные элементы, как средства карикатуризации. Они характеризуются пошлостью темы, огрубленностью лексики, отсутствием поэзии, но вместе с тем вписываются в данный контекст. Их очень много, и разбросаны по всей книге.

В третьей части изучаются художественные и языковые средства. Топонимы (которые в книге сводятся к одному – Ибанск) и антропонимы сопряжены с символикой персонажей, большинство которых представляется нам не как действующее

лицо, а как галерея масок, прототипов. Их нельзя считать героями, ведь у них нет чувства, личности. Они безлики, бесплотны, абстрактны, так что их можно причислять к символам. Они характеризуются прежде всего своей речью. Эта речь различает персонажей и по фонетическим, и грамматическим и лексическим признакам. Например в главе 442 («Язык интеллектуалов») Зиновьев прибегает к лексическому ряду табуированных слов для характеристики речи современной интеллигенции. Речь молодёжи во всём произведении характеризуется тоже нецензурными словами.

Следующая глава работы занимается типами лексических единиц и словосочетаний в различных слоях текста. Выбор этих средств функционален, автор использует их для создания внутренней спаянности произведения. Он вводит в текст созданные им аббревиатуры, чтобы «высмеять эпидемию сокращений». Они иногда не то, что непонятны, но даже не благозвучны для повседневного человека. Он этой «игрой в буквы» старается выразить свое снисходительное отношение к мнимой важности и научности всех официальных органов, организаций, выявить их пустозвон.

Близкая к этой группе окказиональная лексика является тоже индивидуально-авторским творением. Мария Санчес Пуиг собрала все эти слова в особый список. Указывая на их неоднородность, группирует их на каламбуры (напр. *пролазырь*, *срамшдат*, *Академик-Заискатель* и др.), несоветизмы (*каперанг*, *кавторанг*, *Заперанг*, *Поперанг*, *Завторанг*, *Муперанг* и т. д.), псевдотехницизмы (*ультрасупероберсознательные индивиды*, *тринитротолуохлорвенилпаралоновая шуба*, *киберматика* и т. д.), суперлативы (*ейнштейнссимус*, *агатакрисстиссимус* и т. д.), «крысызмы» (лексическое гнездо авторских слов, образованных от корня *крыс*, по правилам русского словообразования: *крысоферна*, *крысятник*, *крысоводство* и т. д.), советологизмы (*ибакологи*, *ибанизм*, *изм*, *социзм* и т. д.). «Окказиональные авторские слова в «Зияющих высотах» являются эффективным средством авторского высказывания и передачи читателю этого, при условии, что читатель будет обладать тем же тезаурусом в области «ибакологии» что и автор. Иначе нельзя декодировать текст. Табуированная лексика тоже составляет значительную группу в тексте, но их присутствие оправдано контекстом. В тех композиционных слоях, где автор передает живую разговорную речь, он пользуется вульгаризмами и жаргонными выражениями. Однако, где автор прибегает к письменному языку, таких стилистических единиц нет.

Как и все вышеупомянутые лингвистические средства, фразеология тоже имеет в тексте свою специфическую функцию. Сюда относит Мария Санчес Пуиг пословицы, поговорки, устойчивые словосочетания, цитаты, крылатые слова, афоризмы и библеизмы. Все это в значительном количестве есть в тексте, но в большинстве случаев они переосмыслены, поэтому читателю, чтобы понять их, надо погрузиться в чтение. Таким, где они появляются в прямом смысле, без подтекста, там обогащают речь, делают ее более живой, эмоциональной.

В синтаксическом строе произведения наблюдаются лексические, стилистические и тематические отличия. Анализируя произведение Зиновьева как сложно-синтаксическое целое, Мария Санчес Пуиг приходит к выводу, что «вся книга – есть одно большое, единое синтаксическое целое с четкой внутренней структурой: с зачином, развитием темы и концовкой в каждом из составных элементов и в общности; со связками, темами-зацепками, которые регулярно возвращаются по кругу; с повторами и вариантами; с параллельными, цепными и присоединительными конструкциями – линиями повествования и с единой, сильной субъективной окраской.»

Говоря о стилистических особенностях композиционных слоев текста испанская исследовательница выражает свою точку зрения, по которой стилистические характеристики соответствуют композиционно-тематическим слоям. В тексте преобладают рассуждение и диалог, в меньшей степени присутствует повествование, и фактически отсутствует описание. Умелое смешение стилей является эффективным средством воздействия на читателя, неназойливым способом подвести его к тем заключениям, ради которых автор создал свое произведение.

Прочитав книгу Зиновьева становится ясным, что всё основывается у него на двух чувствах, на отчаянии и любви. «Эту любовь и отчаяние ... стремится донести автор до читателя. Всеми средствами.» И разбираться в этих средствах помогает нам работа Марии Санчес Пуиг.

М. ФОНАЛКА

«La Société Soviétique d'aujourd' hui» La Revue Russe 1. No Spécial, Publication de l'université de Provence, 1991, 140

1 и 2 декабря 1990 г. в Экс-ан-Прованс произошел обмен мнениями по теме «Советское общество сегодня», который организовал Институт Славянских наук Прованского университета по инициативе Контора Общества Учителей русского языка. Конференция имела большой успех, около трехсот человек с огромным интересом прослушали лекции, выступления, в которых обсуждались разные политические, экономические, общественные и культурные аспекты последствия перестройки.

Самые новые изменения на Востоке поразили общественное мнение, их скорость и важность превосходили предсказания политологов. Поколебание этой большой страны стало особенно важным, если имеем ввиду ее роль в мировой политике.

Тон конференции задал своим докладом «Советский Союз Горбачева: несколько предварительных замечаний» Ф. Конт, преподаватель IV-го Парижского университета. Предметом его анализа были причины и следствия перестройки.

Ж. Ге, доцент III-го Университета в Экс-Марсель, в своем докладе «Стремления советского общества к правовому государству» анализировал перестройку с точки зрения юриста и показал изменение права в таком обществе, которое практически никогда не знало настоящей демократии.

Ж. Дюшен, преподаватель XIII-го Парижского университета в своем докладе «Новый курс в СССР» исследует экономическое положение в Советском Союзе. По мнению выступавшего с 1985 года начался этап экономических преобразований и разных рыночных реформ хозяйства. Западная гуманитарная помощь вызывает большой хаос, из которого единственный выход – установление прямых торгово-экономических отношений между партнёрами и стабилизация свободных цен.

Ф. Конт, профессор из института «Пританэ де ла Флеш» в своем выступлении набросал контуры советского менеджера («Руководители предприятий и перестройка в СССР»). Разговор ведётся о роли руководителей предприятий и одной части номенклатуры в изменениях советской промышленности.

Доцент VII-го Парижского университета Д. Паиллард изучает рождение независимого движения рабочих в СССР, пробуждение сознания рабочего класса и формы действий, которые переступают территорию экономической жизни и, вообще, имеют отношение к улучшению жизненных условий рабочих, изменению их политических и социальных прав.

А. Хмелев, доцент педагогического института из Москвы, раскрыл противоречия русского национализма и осудил ошибочное толкование национализма и антисемитизма.

В докладе «Неофициальная пресса на улицах Москвы» В. Жоберт доцент из IV-го Парижского университета даёт обзор прессы, рождённой перестройкой, которая иногда спорадическая и маргинальная, но по тону всегда страстная.

Два последних доклада Ж-П ван Дет «Ради интеграции цивилизации обучения языку» и П. Бахеретти «Компьютерское обучение русскому языку» занимают дидактическими проблемами и их можно читать как дополнительное.

Читатель держит в руках первый номер «Русского обзора», редакция которого собралась в апреле 1991 года. Цель обзора двойная: в первую очередь соответствовать тем проблемам, которые вызывает актуальная и повседневная жизнь преподавателей русского языка и помочь в их работе. Во-вторых, соответствовать требованиям читателей, не преподающих русский язык. По мнению главного редактора М. Гирод-Вебер, которая в предисловии излагает основные мысли докладов и выступлений, самая важная цель – осознание того, что русский человек наконец-то свободно может формировать свою судьбу. Этой очень высоко ценимой в наши дни цели служит первый отдельный номер «Русского обзора».

Л. ЛИБЕР

**Udvari István: Ruszinok a XVIII. században
(Ruthenen im 18. Jahrhundert).** Nyíregyháza, 1992.

Gab es, gibt es, oder wird es eine ruhenische Volksgruppe geben? Mit absoluter Gewissheit können Geschichtsschreibung und Sprachwissenschaft nur die ersten zwei Fragen beantworten. Die Antwort ist positiv, denn seit mehreren Jahrhunderten berichten die Quellen über die westlichste Guppe der Ostslawen unter dem Namen Ruthene ("natio ruthenica").

Diese Volksgruppe, die immer im Grenzgebiet verschiedener Staaten gelebt hat, und die so im Laufe der Jahrhunderte mit den Nachbarvölkern in enge Berührung kam, hat in ihrer unfruchtbaren Heimat zwei wichtige Eigenarten bis in unsere Tage bewahrt. Das sind; die Sprache ostslawischen Typs und eine Kultur, die mit der östlichen Richtung des Christentums verbunden ist.

Territorial spielte sich die ruthenische Geschichte anfangs im polnischen und im ungarischen Staat, später im Fürstentum Siebenbürgen und im Habsburgerreich ab.

Das Schicksal der Ruthenen nördlich bez. südlich der Karpaten gestaltete sich jedocs auf gewisse Weise unterschiedlich. Die ruthenischen Gebiete blieben sowohl in Ungarn als auch in Polen u. a. aufgrund ihrer periphären Lage und infolge anderer ungünstiger Umstände gegenüber den jeweiligen zentralen Gebieten rückständig. István Udvari's Sammelband zeichnet uns ein enzyklopädisch reiches Bild über die ruthenische Welt des 18. Jh.-s im damaligen Ungarn. "Die Studien des Bandes behandeln Religions- und Kulturgeschichte der Ruthenen ebenso wie Aspekte der Entwicklung ihrer Sprache. Tatsächlich berichten diese Artikel aber über mehr, nämlich über den sprachlichen und kirchlichen Werdegang einer Nation ... Diese Prozesse sind tief mit der Geschichte der mittel- und ost-europäischen Völker verflochten, und haben auch mit unserer Gegenwartsgeschichte zu tun." - schreibt Gyula Viga. Es ist zu betonen, dass seit Jahrzehnten kein umfassendes Werk erschienen ist, das die Geschichte des ganzen Siedlungs-Gebietes (von der oberen Theiss bis zum Poprad - Fluss) bearbeitet. Daher beginnt das Buch mit der Darstellung der heutigen kulturellen und sprachlichen Situation der Ruthenen in den verschiedenen Ländern. Erst danach folgt eine interessante Darstellung der Forscher, die zu diesem Thema gearbeitet haben.

Die Ruthenen von Ungarn nannten sich seit Jahrhunderten "uhroruskij", und in ihrer Selbstbezeichnung gilt als wichtiges Element - die Zugehörigkeit zur östlichen Kirche (zuerst griechisch-orthodox danach griechisch-katholisch). Für die Ruthenen im Karpatenbecken war das 18. Jh. sehr wichtig. Dann folgte in der Geschichte Ungarns eine längere friedliche Epoche, in der sich auch das Siedlungsgebiet der Ruthenen vergrösserte. Durch die Union mit Rom ergaben sich bedeutend günstigere Bedingungen für ihr kirchliches und kulturelles Leben. Diese Bevölkerung, deren Grösse der Autor im Ungarn des 18. Jh auf eine Anzahl von 250 000 Leuten schätzt, hatte kaum adelige und bürgerliche Mitglieder. Als führende Schicht des Volkes konnte die kirchliche Intelligenz betrachtet werden. Laut Forschungen von Udvari gehörten der ruthenischen Intelligenz etwa 1200 Familienoberhäupter an, die fast alle im Dienste des Munkácsér Bistums (heute МУКАЧЕВО Ukr.) standen. Im 18. Jh. löste sich der ruthenische Klerus engültig von der Kirchenhierarchie Galiziens los, (Das hatte auch sprachliche Folgen) - und gestaltete mit Hilfe der Universität in Nagyszombat (heute Trnava, Slowakei) und der Theologischen Fakultät in Ungvár (heute УЖГОРОД Ukraine) sein kulturelles Leben. Die entstehende Kultur war geprägt von einem Gleichgewicht zwischen östlicher und westlicher Orientierung. Udvari stellt in einer Reihe von Studien die bedeutenden Gestalten der ruthenischen Kulturgeschichte, darunter die Munkácsér Bischöfe dar.

Mehrere Artikel des Buches befassen sich mit der Geschichte des Wallfahrtsortes Máriapócs und seiner Rolle im griechisch-katholischen religiösen Leben. Die Originalikone von Máriapócs befindet sich seit 1702 in Wien, im Stephansdom, aber auch die Kopie gilt als wundertätig. So ist das hiesige Basilianerkloster seit fast 300 Jahren ein wichtiges Zentrum der griechisch-katholischen Bevölkerung (Ruthenen, Ungarn, Slowaken, Ruvänen) des ehemaligen Nordostungarn. Selbst der Papst Johann Paul II. besuchte 1991 das Kloster. In der Volksüberlieferung spielten die hiesigen Wallfahrten eine wichtige Rolle in den interethischen Beziehungen.

Das Leben der Ruthenen im 18. Jh. wird vom Autor auch auf Grund der weltlichen Quellen interpretiert. Vom 18. Jh. an bezeugen schon viele Schriften die wirtschaftlichen Prozesse. Die Königin Maria Theresia liess, -bevor sie die Fronleistungen der Leibeigenen zu vereinheitlichen begann,

die bisher üblichen Dienstleistungen bemessen. Die eidlichen Aussagen der Leibeigenen wurden in derjenigen Sprache aufgezeichnet, die die Landbevölkerung verstand - also im betreffenden Gebiet ruthenisch, aber auch oft ostslowakisch, seltener ungarisch. Diese Texte sind natürlich für Linguisten und Dialektologen recht interessant. Aus diesen durch Udvari bearbeiteten Quellen lassen sich bestimmte wirtschaftliche Tendenzen ablesen: wo und welche Agrarkulturen existierten, wie man den Ertrag verwertete, wo es Marktzentren gab, wo es üblich war, als Saisonarbeiter in andere (ungarische) Gebiete zu migrieren.

Der griechisch - katholischen Kirche warfen einige Historiker vor, dass durch sie die Assimilierung der Ruthenen gefördert wurde. Der Autor weist mehrmals darauf hin, wie oft in den Rundschreiben der Munkácser Bischöfe die Bedeutung der ruthenischen Sprache betont wird. Dabei gingen die Kirchenführer von den Bedürfnissen der Liturgie aus, und verordneten das Lehren der "ruthenischen Sprache" (womit eigentlich das Lehren kirchenslawischer Gebete und anderer Texte gemeint war). Insgesamt bestand eine gewisse Tendenz zur Assimilierung der zerstreuten Volksgruppen, aber die Kirche versuchte eher diesen Prozess aufzuhalten. Ein interessantes Beispiel bieten die Ruthenen in der Wjowodina, die ihren lemischen Übergangsdialekt bis in unsere Tage erhalten haben, und versuchen in dieser Sprache eine schriftliche Kultur zu entwickeln. (Novi Sad, Vukovar) Bei der Schilderung der genannten Prozessen arbeitet Udvari immer auf Grund von Archiv-Materialien, Statistiken und demographischen Erhebungen. Dadurch gelingt ihm eine objektive Behandlung des Themas.

Der Autor der Studien ist durch gründliche Kenntnis seines Fachbereiches zu einer grösseren neuen Synthese der Thematik aus ungarischer Sicht befähigt. Das verspricht uns eine Weiterentwicklung der Ergebnisse der früheren Monographisten wie Hodinka, Zsatkovics, Bonkáló, O. Szabó usw. (Die Namen wurden hier in ungarischer Orthographie wiedergegeben.)

Was den Forschungsgegenstand des Autors konstituiert - Leben, sprachliche Situation, politische und kulturelle Ambitionen der Ruthenen - befindet sich in einer Phase des Übergangs. Welche Richtung und Intensität werden diese Entwicklungstendenzen haben? Die Wissenschaft könnte dabei auch den Politikern Wichtiges zu sagen haben. Wie wichtig die Analyse der "Wurzeln" ist, zeigen die Ereignisse im

südslawischen Raum. Hier wurden manche Forschungsergebnisse der Wissenschaft seit langem konsequent ausser Acht gelassen, und jetzt steht man ratlos angesichts der Ereignisse.

CS. KOVACS

Sindik, Nadežda M. - Grozdanović-Palić, Miroslava - Mano-Zisi, Katarina: Opis rukopisa i starih stampanih knjiga Biblioteke Srpske Pravoslavne Eparhije u Santendreji.

Beograd-Novi Sad, 1991. 391 S. 94 III. (Narodna Biblioteka Srbije - Biblioteka Matice Srpske.)

Von drei Belgrader Wissenschaftlerinnen wurden Handschriften und alte Bücher aus der Bibliothek der Budaer Serbischen Orthodoxen Eparchie in Szentendre veröffentlicht, wodurch ein Band von Interesse gleichermaßen für Slawisten und Hungarologen zustande kam.

In der einleitenden Abhandlung wird die Entstehungsgeschichte der Sammlung dargelegt. Die Bücher und Handschriften waren einerseits Ende des 17. Jahrhunderts von serbischen Einwanderern aus deren Heimat nach Ungarn mitgebracht worden, andererseits während des 18-19. Jh. in Szentendre, Grábóc und Buda entstanden. Die 14 Seiten umfassende Einleitung ist als regelrechter Thesaurus von Angaben zur serbischen Kulturgeschichte auf dem Gebiet sowohl des Heimatlandes als auch Ungarns zu erachten. Die Abfassung des Katalogs wurde durch ein zwischen Jugoslawien und Ungarn abgeschlossenes Kulturabkommen begünstigt. Das Ergebnis von knapp 15 Jahren Arbeit ist eine detaillierte, fachlich einwandfrei gestaltete und allen Anforderungen der modernen wissenschaftlichen Forschung entsprechende Darstellung.

Bei den Handschriften sind in je 6 Zeilen folgende Daten angeführt:

1. kodikologische Beschreibung
2. Scriptor, Scriptorium, Chronologie
3. Einband und Ornamentik
4. Schrift und Sprache
5. Inhalt
6. Marginalien

In einem bunten Nacheinander reihen sich hier liturgische Texte, historische Arbeiten, Lehrbücher, Defter, hagiographische und apologetische Werke, von denen besonders folgende hervorzuheben sind: Die Klösterchronik von Grábóc (Ungarn - Punkt 6), die Polemik der östlichen und westlichen Kirche (in mehreren Exemplaren vorhanden) sowie die Apologetik des Hl. Demetrius von Rostow, die allerdings

schon einen Übergang zur Geschichte der serbisch-ostslawischen Beziehungen bildet.

Die Beschreibung der Handschriften (eine Arbeit von N. Sindik) wird durch 11 Indizes und 64 farbige Tabellen abgeschlossen.

M. Grozdanović-Palić befaßt sich in ihrem Aufsatz mit den Wasserzeichen und entdeckt dabei komplizierte Zusammenhänge. Von größter Bedeutung ist für uns die Feststellung, daß in den serbischen *Scriptorien* auf ungarischem Boden hauptsächlich Produkte österreichischer, böhmischer und slowakischer Papiermühlen verwendet wurden. Ihre Abhandlung wird durch 20 Tabellen und 4 Indizes vervollständigt.

Der dritte - von K. Mano-Zisi bearbeitete - Teil enthält Angaben zu 27 serbischen und kirchenslawischen Büchern unter Berücksichtigung ihrer Provenienz. Es wird darin u. a. auf die Geschichte des ungarischen und österreichischen kyrillischen Buchdrucks wie auch auf die Frage des Imports ostslawischer Drucke in diese Region eingegangen. Die von Mano-Zisi beschriebenen Bücher stammen aus den Offizinen in Venedig, Krakau und Mrkšina Crkva und sind mit je 8 Index- und Illustrationsbeilage versehen.

Die polygraphische Ausführung des Katalogs kann man als sehr gut bezeichnen. Allerdings wäre es unbedingt notwendig gewesen, ein Resümee zur einleitenden Studie in einer Weltsprache und in Ungarisch hinzuzufügen sowie die in den Marginalien vorkommenden Namen auf ungarischem Gebiet befindlicher serbischer Ortschaften mit dem jeweiligen ungarischen Äquivalent zu ergänzen, weil erstere sogar für einen Slawisten schwer identifizierbar sind, es sei denn, es handele sich um einen serbischen Muttersprachler. Darüber hinaus hätte auch die Korrektur der mit lateinischer Graphik gedruckten Textteile sorgfältiger erfolgen sollen.

Zusammenfassend kann man nichtsdestoweniger feststellen, daß die serbische und ungarische Fachliteratur durch ein außerordentlich wertvolles Werk bereichert worden ist.

E. OJTOZI

INDEX

Эндре Иглои 70 лет	7
I. Удвари: Карпаторуська церковна офіційна писемність у першій третині XVIII століття	11
Й. Пиларский: К переходу е ---> о с позиций ареальной конвергенции	27
A. Salga: A Contribution to the Passive in Russian	33
A. Бардош: Морфологические алгоритмы и ЭВМ	43
Станге-Жирова: К анализу одной бинарной модели в системе русской народной культуры	53
H. Вархол: Дерево в народній уяві русинів східної словащини	61
M. Фоналка: Афоризмы в Галицко-волынскої летописи	69
E. Bodnár: Reformbestrebungen in der russischen Regierungspolitik an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert	75
B. Комаров: Восполняемая «недосказанность» пушкинской прозы на примерах «Пикової дамы» и «Египетских ночей»	85
G. Hima: Die "reciproke" Textbeziehung zwischen Gogols "Mantel" und Dostojewskis "Arme Leute" (1)	97
H. Динков: Георги С. Рковски и вестник «Българска дневница»	107
I. Мегела: Шевченко в Угорщині	125

З. Хайнади: О литературной аргументации	131
Ч. Кукучка: «Легенда о великом инквизиторе»	143
Л. Микрут: Русский исторический роман второй половины XIX века (к постановке проблемы)	159
Л. Имре: Шестов: Достоевский и Ницше	169
Й. Пароцаи: Герои Чехова в зеркале их наименований	177
Е. Јућа: Próba wyznaczenie miejsca Ciurlionisa w sztuce abstrakcyjnej	183
Й. Вилаги: Библейские образы поздней лирики Пастернака	191

Critica et Bibliographia

Памяти Якова Исааковича Штернберга (1924-1992) - In memoriam Váradi-Sternberg János (<i>Л. М. Такач</i>)	221
Nowe książki Węgierskiego Instytutu Kultury (<i>А. Sprawka</i>)	225
Мария Санчес Пуиг: Художественные средства на службе авторской идеи (на материале произведения А. Зиновьева «Зияющие высоты» (<i>М. Фоналка</i>)	228
"La Société Soviétique d'aujourd' hui" La Revue Russe 1. (<i>Л. Лубер</i>)	231
Udvari István: Ruszinok a XVIII. században (Ruthenen im 18. Jahrhundert) (<i>Cs. Kovács</i>)	233
Sindik, Nadežda M. - Grozdanović - Palić, Miroshva - Mano - Zisi, Katerina: Opis rukopisa i starih stampanih Knjiga Biblioteke Srpske Pravoslavne Eparhije u Sentendreji (<i>E. Ojtozi</i>)	237

СОДЕРЖАНИЕ

Эндре Иглои 70 лет	7
И. Удвари: Официальные церковные документы закарпатских русинов в первой трети XVIII века	11
Й. Пиларский: К переходу <i>e</i> ---> <i>o</i> с позиций ареальной конвергенции	27
А. Шалга: К вопросу о страдательной конструкции в русском языке	33
А. Бардош: Морфологические алгоритмы и ЭВМ	43
Н. Станге-Жировова: К анализу одной бинарной модели в системе русской народной культуры	53
Н. Вархол: Дерево в фольклоре русинов Восточной Словакии	61
М. Фоналка: Афоризмы в Галицко-волынской летописи ...	69
Э. Боднар: Реформаторские стремления в русской правительственной политике на рубеже XIX века	75
В. Комаров: Восполняемая «недосказанность» пушкинской прозы на примерах «Пиковой дамы» и «Египетских ночей»	85
Г. Хина: Реципрокные отношения между текстами в «Шинели» Гоголя и в «Бедных людях» Достоевского	97
Н. Дичков: Георги С. Раковски и журнал «Българска дневница»	107
И. П. Мегела: Шевченко в Венгрии	125

З. Хайнади: О литературной аргументации	131
Ч. Кукучка: «Легенда о великом инквизиторе»	143
Л. Микрут: Русский исторический роман второй половины XIX века (к постановке проблемы)	159
Л. Имре: Шестов: Достоевский и Ницше	169
Й. Пароцаи: Герои Чехова в зеркале их наименований	177
Э. Юха: Попытка определения места Чюрлёниса в абстрактном искусстве	183
Й. Вилаги: Библейские образы поздней лирики Пастернака	191

Критика-библиография

Памяти Якова Исааковича Штернберга (1924-1992) - In memoriam Váradi-Sternberg János (Л. М. Такач)	221
Nowe książki Węgierskiego Instytutu Kultury (А. Sprawka)	225
Мария Санчес Пуиг: Художественные средства на службе авторской идеи (на материале произведения А. Зиновьева «Зияющие высоты» (М. Фоналка)	228
"La Société Soviétique d'aujourd' hui" La Revue Russe 1. (Л. Лубер)	231
Udvari István: Ruszinok a XVIII. században (Ruthenen im 18. Jahrhundert) (Cs. Kovács)	233
Sindik, Nadežda M. - Grozdanović - Palić, Miroshva - Mano - Zisi, Katerina: Opis rukopisa i starih stampanih Knjiga Biblioteke Srpske Pravoslavne Eparhije u Sentendreji (E. Ojtozi)	237

CONTENTS

In Honour of Endre Iglói	7
I. Udvari: Official Ecclesiastical Documents of Carpathian Russia in the First Third of the 18th Century	11
J. Pilarský: On the transition of <i>e</i> to <i>o</i> in the Light of Areal Convergence	27
A. Salga: A Contribution to the Passive in Russian	33
A. Bárdos: Morphological Algorithms and the Computer	43
N. Stange-Zhirovova: Analysis of a Binarcic Model in the System of Russian Folk Culture	53
N. Varhol: The Tree in the Folklore of Rusins of East Slovakia	61
M. Fonalka: Aphorisms in the Galician-Volhynian Chronicles	69
E. Bodnár: Reform Attempts in Russian Government Policy at the Turn of the 19th Century	75
V. Komarov: 'Unfinished Narration' in Pushkin's Prose as Illustrated by 'The Queen of Spades' and 'Egyptian Nights'	85
G. Hima: 'Reciprocal' Relations between Texts in Gogol's 'The Mantle' and Dostoyevsky's 'Poor Folk' I.	97
N. Dimkov: Georgi S. Rakovski and the Journal 'Bulgarska dnevnicá'	107
I. P. Megela: Shevchenko in Hungary	125

Z. Hajnády: On Literary Argumentation	131
Cs. Kukucska: 'Legend on the Grand Inquisitor'	143
L. Mikrut: The Russian Historical Novel in the Second Half of the 19th Century (Problem Analysis)	159
L. Imre: Shestov: Dostoyevsky and Nietzsche	169
J. Paróczay: Chekhov's Heroes in the Light of Their Names	177
E. Juha: An Attempt to Define the Place of Ciurlionis in Abstract Art	183
J. Világhy: Biblical Images in Pasternak's Late Lyrics	191

Reviews

Памяти Якова Исааковича Штернберга (1924-1992) - In memoriam Váradi-Sternberg János (Л. М. Такач)	221
Nowe książki Węgierskiego Instytutu Kultury (A. Sprawka)	225
Мария Санчес Пуиг: Художественные средства на службе авторской идеи (на материале произведения А. Зиновьева «Зияющие высоты» (М. Фоналка)	228
"La Société Soviétique d'aujourd' hui" La Revue Russe 1. (Л. Лубер)	231
Udvari István: Ruszinok a XVIII. században (Ruthenen im 18. Jahrhundert) (Cs. Kovács)	233
Sindik, Nadežda M. - Grozdanović - Palić, Miroshva - Mano - Zisi, Katerina: Opis rukopisa i starih stampanih Knjiga Biblioteke Srpske Pravoslavne Eparhije u Sentendreji (E. Ojtozi)	237

Kossuth Lajos Tudományegyetem
Felelős kiadó: Bazsa György rektorhelyettes
Felelős szerkesztő: Hajnády Zoltán
Példányszám: 500
Megjelent: 1993
Szedés: KLTE Szláv Filológiai Intézet
Nyomás: KLTE Reprográfiai Osztály